

БИБЛИОГРАФИЯ

<ИЗ № 6 «СОВРЕМЕННОГО»>

Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч. Ор. Новицкого. Часть I. Религия и философия древнего Востока. Киев. В университетской типографии 1860 г.

При военных походах одним из неизбежных явлений бывают толпы отсталых, число которых увеличивается по мере того, как армия с генеральным штабом подвигается все дальше и дальше вперед. При быстром наступлении дело доходит до того, что большинство солдат остается далеко позади. По счету эти толпы далеко превосходят ту часть войска, которая идет под знаменами; но они не принимают уже никакого участия в битвах и служат только обременением для своих бывших товарищей, на плечах которых остается вся тяжесть борьбы, которые зато одни и получают славу. То же самое бывает и в умственном движении человечества в завоевании истины. Сначала все народы идут наравне: предки Аристотеля жили некогда в таком же состоянии, как готтентоты, имели такие же понятия; но вот умственное движение ускоряется в некоторых племенах, и огромное большинство человеческого рода отстает от них. Греки, изображенные Гомером, уже далеко опередили троглодитов, лестригонов и другие племена, о которых Илиада и Одиссея говорят, как о жалких дикарях, свирепых вследствие самой своей нищеты, умственной и материальной. Еще несколько переходов — и большинство самих греков отстает от передовых племен. Во времена Солона¹ афиняне уже много ушли вперед против положения, в каком были при Гомере, а спартанцы не подвинулись почти ни на шаг, другие племена не подвинулись вовсе. Еще несколько переходов — и в самом афинском племени повторяется то же явление: мудрость Солона была понятна и доступна каждому афинскому гражданину, а Сократ кажется уже вольнодумцем большинству своих соотече-

Ственников: только немногие понимают его, остальные спокойно осуждают на смерть как безбожника². То же самое и в новой истории. Дело начинается тем, что вся масса людей, населяющая провинции бывшей Западной Римской империи и составившаяся из смещения германских завоевателей с прежними римскими подданными, имеет одинаковый взгляд на вещи: все одинаково католики и все, от высших до низших, одинаково понимают католичество; папа в VII или VIII веке отличается от самого необразованного французского или ирландского поселенца только тем, что больше его помнит текстов и молитв, а не тем, чтобы иначе разумел смысл их. Наука существует в виде поговорок и простонародных сказаний, которые одинаково известны всем людям всех сословий; поэзия состоит в народных песнях, которые равно известны и близки каждому. Через несколько времени различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни. Церковные богатства дают возможность образоваться теологам, из которых большинство считается верным католическому преданию, но все-таки дает ему истолкование, различное от понятий, сохраняющихся между простолюдными. Немногие особенно даровитые теологи доводят эту переделку до того, что их понятия отвергаются большинством других специалистов, зато принимаются мирянами среднего и низшего сословий в тех местах, где обстоятельства особенно благоприятствуют развитию массы. Так из католического общества выделяются альбигойцы и другие еретики. Наука так же постепенно принимает форму, незнакомую массе, развивает в себе содержание, непонятное для неспециалистов. Из общих всем понятий о созвездиях развивается нечто похожее на астрономию, и сама астрология становится знанием гораздо обширнейшим простонародных поверий, из которых вышла. Эти успехи основаны на материальных средствах, которыми располагают духовенство и среднее сословие; горожане участвуют и в произведении новой поэзии, уже недоступной всему народу, остающемуся при прежних сказках и песнях; в городских цехах составляются компании мастеров поэзии, мейстерзингеров; но еще больше содействуют этой перемене богатства феодальных баронов, у которых являются придворные поэты — трубадуры. Еще несколько времени, и расстояние между массой и передовыми людьми еще увеличивается; то, что было ересью, представляется выгодным для некоторых светских государей, и учения, различные от католических преданий, объявляются в некоторых странах господствующими. В начале средних веков все государи помогали католическому духовенству преследовать еретиков; в начале второй половины средних веков графы Тулузские уже покровительствуют альбигойцам, но еще не смеют сами объявить себя альбигойцами и оказываются бес- сильными защитить еретиков и самих себя от гонения, поднимаемого людьми прежних понятий. Гуситы, в конце средних веков,

уже могут удержаться против католического гонения; а через сто лет новые понятия уже официально становятся на место католичества; многие государи предпочитают Лютера папе. Но через это только увеличивается расстояние между передовыми людьми и массою не только в странах, удержанных в католическом порабощении, но даже в протестантской части Европы: за энтузиазмом простонародья, давшим светской власти силу отложиться от папы, следует прежняя умственная летаргия, и почти весь народ протестантских земель снова впадает в умственную рутину, очень похожую на католичество. Зато очень далеко уходят вперед небольшие части народа: из лютеранства быстро развиваются анабаптизм и другие ереси протестантства. Большинство протестантских теологов также сохраняет дух неподвижности, по которому уподобляется своим католическим соперникам; но немногие, особенно даровитые люди, как например, Социн, дают ученое развитие понятиям, соответствующим потребности прогрессивного меньшинства простолюдинов³. Светская наука также развивается между специалистами с замечательно быстротою, а громадное большинство населения остается до сих пор повсюду в невежестве, очень близком к тому, что было в каком-нибудь IX или X веке. Поэзия образованных сословий развивается столь же быстро, а масса повсюду остается при искаженных клочках прежней общенародной поэзии средних веков.

Подобное отношение существует также между массою специалистов и образованных сословий — с одной стороны, и небольшим числом передовых ученых и незначительным числом людей, приготовленных к принятию их воззрений, с другой стороны. Мы видим, что очень немногие английские поэты прошлого века понимали Шекспира и очень немногие люди в образованной публике умели ценить этих поэтов и самого Шекспира, а большинство английской публики и английских поэтов очень долго продолжали держаться надутой реторики или холодной прилизанности, которая принадлежала степени поэтического развития несравненно низшей, чем шекспировская натуральность. То же самое происходило и продолжает происходить повсюду во всех направлениях умственной жизни. У нас, например, огромное большинство поэтов и публики продолжает считать Пушкина лучшим представителем русской поэзии, между тем как время Пушкина уже давно прошло. В Германии во время Канта продолжала господствовать вольфианская схоластика, и кантовская философия стала господствовать, когда наука в школе трансцендентальной философии уже далеко ушла вперед от кантовской фазы своего развития; большинство ученых и образованной публики в Германии держатся теперь воззрений трансцендентальной философии, между тем как наука уже давно покинула эту прежнюю форму своего развития. Отсталость — всегдашняя участь большинства.

Так было до сих пор; так продолжает быть и теперь; но из этого не следует выводить, чтобы такое отношение осталось и навсегда. Возвратимся к нашему прежнему сравнению. Только небольшая часть первоначального состава армии имеет силы не отстать от знамен в быстром походе, только она участвует в битвах и совершает завоевания; остальные бывшие товарищи этих воинов лежат по госпиталям или плетутся изнуренные далеко позади. Но ведь кончается когда-нибудь эта разрозненность. Силою небольшой части первоначального огромного войска решена борьба, сделано завоевание, враги приведены к покорности, победители отдыхают; тут, чтобы разделить с ними плоды победы, ежедневно прибывают к ним толпы, оставшиеся назади. В конце похода вся армия опять сплотилась под знаменами, как была перед началом похода. Тем же должно кончиться и умственное движение: завоеванная истина оказывается так проста, понятна каждому, так сообразна с потребностями массы, что принять ее гораздо легче, чем хлопотать над ее открытием. Переходные ступени очень тяжелы, односторонние проявления истины очень мудрены, но полная истина вовсе не такова: самые слабые имеют довольно сил, чтобы обнять ее, когда она, наконец, открыта. Мы видим, как упрощается теория каждой науки по мере ее совершенствования. Тут происходит нечто подобное происходящему при достижении очень высокого развития поэзией образованных сословий: эта поэзия принимает, наконец, формы, доступные простым людям. Корнель и Расин были понятны и известны только малочисленному классу людей, получивших очень хлопотливое воспитание. Сам Руссо, доступный кругу в десять раз большему, был еще совершенно недоступен большинству грамотной массы: когда образованные люди читали «Новую Элоизу» и «Общественный контракт»*, французские грамотные простолюдины еще читали лубочные издания искаженных остатков средневековой литературы. Но песни Беранже и Пьера Дюпона⁴ поются уже всем простонародьем французских городов и все оно уже читает Жоржа Занда.

Правда, еще остаются во Франции целых две трети грамотных людей, состоящие из поселян, не вовлекшиеся в этот быстро расширяющийся круг единства понятий самых передовых людей, и совершенно простых людей; правда и то, что еще целая половина французского населения не выучилась грамоте. Но мы уже видим, к чему идет дело. Можно уже по пальцам сосчитать, сколько лет остается до той поры, когда каждый француз, каждая французенка будут людьми читающими и когда каждый читающий станет образовываться не по тем дрянным книгам, какими довольствуется большинство французских поселян теперь,

* «Contrat sociale» обыкновенно переводится по-русски «Общественный договор» (известное сочинение Ж.-Ж. Руссо). — *Ред.*

а по произведениям первоклассных людей науки и поэзии. Перспектива еще довольно длинна, но уже виден конец ее. Даже у нас, как ни малы наши успехи по сравнению с передовыми странами, есть признаки того, что начинается проникновение высших результатов нашего умственного развития в массу, которой были недоступны менее высокие фазисы этого развития. Ломоносов был понятен только людям высокого школьного образования. Стихов Державина народ не мог ни узнать, ни оценить; да они и были таковы, что, по правде говоря, ровно нечего было ценить в них. Но молодые люди среднего сословия уже могли восхищаться балладами Жуковского. Для простолюдинов баллады эти были слишком хитры и приторны; но «Черная шаль» Пушкина пелась уже девушками из уездного простонародья. На-днях, проходя мимо столиков, на которых продаются лубочные картинки, мы видели лист с главными сценами из песни Лермонтова о Калашникове; под картинками были написаны отрывки песни, соответствующие им.

Дело начинается постепенным выделением людей высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения.

Те передовые люди, деятельностью которых развивается наука, ведут ее и к тому, чтобы прониклась результатами ее жизнь всего народа. Люди отсталые, служащие только обременением для развития науки, не приносят никакой пользы и ее распространению в массе; они бесполезны во всех отношениях и во многих прямо вредны. Кто думает так, тот не имеет никакого основания быть снисходительным к ним. Он не имел бы никаких извинений, если бы стал скрывать свое мнение о них, если бы стал говорить, что их труды имеют какую-нибудь цену, когда сам видит, что они не имеют никакой, ни для науки, ни для ознакомления хотя бы с тем неудовлетворительным фазисом ее развития, к которому принадлежат. Например, если бы мы стали думать, что все же лучше человеку познакомиться хотя с отсталыми философскими воззрениями, чем совершенно не иметь никакого понятия о философии, мы все-таки не могли бы сказать, что книга г. Ор. Новицкого будет сколько-нибудь полезна русской литературе. В самом деле, кто прочтет ее? Наверное можно предвидеть, что даже книгопродавческого успеха иметь она не будет; никто не купит ее, кроме разве тех студентов, которые

должны будут готовиться по ней к экзамену, и самая покупка ее этими молодыми людьми была бы вовсе не признаком распространения знакомства с философиею в молодом университетском поколении, а, напротив, только признаком того, что молодые люди, уже захотевшие познакомиться с философиею, принуждены отсталостью своих руководителей знакомиться с нею в той форме, которая не удовлетворит их, возбудит в них скуку, отвращение и во многих из них убьет философскую любознательность, которая была уже пробуждена независимо от этой книги и без нее не получила бы такого печального конца. Но да не подумает кто-нибудь, что мы этим отвергаем всякое историческое достоинство системы, отражение которой находим в книге г. О. Новицкого, — сама по себе она была некогда очень хороша; нам кажется только, что она выразилась в его книге неудовлетворительным образом; нам кажется также, что и в подлинном своем виде она уже непригодна для нашего времени, бывши плодом обстоятельств, ныне изменившихся.

Характер книги г. Ор. Новицкого вот каков: когда в Германии распространилось знакомство с философиею Канта, большинство специалистов, всегда держащееся рутины, осталось при своей рутинной схоластике, при средневековых понятиях; но ради приличия стало прикрывать их словами, заимствованными из кантовской терминологии. Когда распространилась трансцендентальная философия, к этой смеси старых схоластических понятий с новыми кантовскими терминами прибавилась в рутинных книгах еще новейшая примесь выражений, взятых из шеллинговской и гегелевской систем. Нового духа нет никаких следов в этих рутинных книгах, как нет никакого следа новых общественных идей в реакционных газетах, щеголяющих выражениями, вошедшими в моду после Руссо. Г. Ор. Новицкий заимствовал основные идеи своей книги из этих отсталых немецких философов, излагающих языком Канта, Шеллинга и Гегеля средневековые идеи. Насколько он сам потрудился над перекраскою средневековых идей в кантовский или гегелевский цвет, мы не знаем, да и никому нет большой надобности знать, потому что, если бы кто-нибудь напечатал ныне оду в державинском вкусе, то отзыв критики и мнение публики об этом произведении остались бы совершенно одинаковы, хотя бы ода была оригинальным произведением, или только переделкою какой-нибудь чужой оды, или, наконец, простым переводом с немецкого. Наводить справки об этом решительно не стоило бы.

В похвалу г. Ор. Новицкому надобно сказать, что он пишет с соблюдением правил грамматики, умеет ставить союзы и предлоги в надлежащих местах и основательно знает учение о знаках препинания. Но эта сторона — еще не главное достоинство его книги. Он имеет привычку к употреблению множества философских терминов, из которых иные даже очень недурны, когда

употребляются не г. Ор. Новицким, а Гегелем. Кроме того, одним из источников для изложения китайской философии служила ему книга покойного Иоакима «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение», изданная в Санктпетербурге в 1840 году. Читателю известно, что эта книга написана в вопросах и ответах, и вопросы в ней имеют такой вид: «Как называется у китайцев губернское правление? Сколько ассессоров бывает в китайском губернском правлении? На какие должности определяются в Китае коллежские регистраторы?» В ответах очень точно объясняется все это.

Но пора нам представить хотя один пример философствований г. Ор. Новицкого. Для примера мы выбираем ту часть введения, которая излагает отношение философии к религии. Существенное содержание религии и философии одинаково, говорит Ор. Новицкий, но они «различаются между собою способом усвоения себе этого содержания, формою, под которою сознают одну и ту же истину.

В религии безусловное открывается как непосредственное присутствие * его в человеческом сознании, а в философии — как мысль о безусловном; религия преимущественно живет в убеждениях сердца, а философия — в понятиях разума. В немногих словах (продолжает Ор. Новицкий в примечании), но глубоко верно высказано это различие философии и религии в нашем православном катехизисе (стр. 2): «Знание принадлежит собственно уму, хотя может действовать и на сердце; вера принадлежит собственно сердцу, хотя начинается в мыслях...» Сходясь в одном содержании (продолжает он опять в тексте), философия и религия различаются между собою не только своей формой, но своим значением и достоинством. Каково бы ни было значение философского знания и достоинство самой философии, вера всегда выше этого знания... Если философия (далее говорит Ор. Новицкий) хвалится отчетливостью своих понятий в свойственной ей области, зато эти понятия не имеют той глубины и жизненности, которая принадлежит лишь религии; из внутреннего, глубочайшего основания жизни человечества исходит она и потому есть выражение внутренних ее тайн; и с другой стороны, человеческий дух раскрывается различными проявлениями — науками, искусством, интересами политической жизни, но все эти проявления и дальнейшие сплетения человеческих отношений, все, что имеет значение и достоинство для человека, находит свое последнее средоточие в религии, в мыслях, сознании, чувствовании бога; все отношения человеческой жизни сходятся отдельными лучами в религии как в своем фокусе, все утверждаются в ней и животворятся ею; так философия и искусство, можно сказать, суть цвет народного сознания; но живой их корень, как и всякого народного образования, есть только религия; отторгнутое от этого корня, заключенное в чисто отвлеченных понятиях, философское мышление мертвеет и приносит плоды незрелые и горькие; только в религиозном чувстве философия всегда находила неиссякаемый источник высших, животворных помыслов; правда, и философия может оказывать религии своего рода услугу, — может очищать религиозное чувство, хотя не в нем самом, а от чуждой ему примеси ложного понимания, суеверия, фанатизма и т. п.; но и это делает философия лишь тогда, когда внимает голосу того же самого чувства; она только тогда бывает действительным знанием, когда в чистоте выражает это чувствование. На-

* В Современнике опечатка: присуще.—Ред.

конец философия развивается среди нескончаемых противоречий и борьбы понятий; и потому, если она более или менее удовлетворяет любознательности разума, то не может даровать мира и успокоения, — не может удовлетворить сердца; она мыслит о безусловном, но только мыслит, а не ведет к единению с этим безусловным, чего непрестанно алчет дух человека; между тем религия есть такая область сознания, где разрешаются все загадки мира, где примиряются все противоречия мысли, успокаиваются все печали и тревоги сердца, — есть область вечной истины, вечного покоя, вечного мира; только религия, а не мышление о ней, дарует человеку блаженство; и потому-то, — повторяем снова, — вера выше знания, религия выше философии (стр. 12, 13, 14 и 15).

По различию форм (продолжает г. Ор. Новицкий) философия и религия бывают в разных отношениях между собою. В религии он видит два существенные видоизменения: религию естественного откровения, или религию естественную, и религию высшего, сверхъестественного откровения.

Религиозное и нравственное чувствование (говорит г. Ор. Новицкий), несмотря на первоначальное величие и святость его, может, как и все человеческое, потемнеть и извращаться страстями; и оно действительно помрачено и искажено грехом, — как в этом легко может убедиться каждый не только историей естественных религий и историей языческих деяний, но и беспристрастным внутренним опытом, — чего не отрицали даже языческие мыслители. Поэтому *высшее, сверхъестественное* откровение, возможность которого понимает разум, сделалось необходимостью для человеческого рода и по божественному милосердию действительно дано людям. Многократно благоволил господь возвестить людям свою волю через избранных им мужей, пока, наконец, воплощенный сын божий не принес на землю откровение божие в полноте и совершенстве и тем даровал человечеству *христианскую, сверхъестественную откровенную религию* (стр. 16 и 17).

Естественная религия (продолжает г. Ор. Новицкий) не могла дать человеку истинного и спасительного богопознания, а божественная религия «мало-помалу очистила и возвысила понятия народов, укротила страсти, укрепила волю в добре, преобразовала домашнюю и общественную жизнь людей, произвела новое, самое благотворное влияние на искусство и науку, а потому самому и на философию. Она открыла человеку такие тайны о боге, мире и человеке, до которых не только не доходил человеческий разум в мире языческом ни в религии, ни в философии, но до которых никогда и не может прийти своими собственными силами. При таком значении богооткровенной религии философия уже не может противопоставляться ей без вреда для самой себя, а тем больше не может пересилить ее и возбудить к дальнейшему развитию, как в мире языческом: человеческое не может стать выше божественного; зато, наоборот, эта божественная религия самым величием своих истин, их высотой и глубиной, может несравненно больше, чем естественная религия, возбуждать философскую мысль к дальнейшему развитию, чтобы своим собственным путем, путем чистого мышления она могла мало-помалу приближаться к неисчерпаемому богатству содержания, данного

божественным откровением, проникнуться им, возвыситься к нему...»

Еще более перемен в отношениях между религиею и философиею производилось развитием самой философии. Сначала философия 1) заключается в пределах религии, потом, — по словам г. Ор. Новицкого, — «2) отделяется от религии, становится не зависимою от нее в своем развитии, получает совершенно другую форму, форму отчетливых и самостоятельных соображений рас-судка и нередко поставляет себя во враждебное отношение к религии, не хочет признавать своего знания в ее вере; на-конец, 3) философия снова обращается к религии, старается примириться с нею, признать разумом то, что религия признает серд-цем, соединить ее веру с доверием к самому разуму и опять яв-ляется в форме общности, но отчетливой и ясной».

До появления сверхъестественной религии философия имела, — по словам г. Ор. Новицкого, — первый свой период на востоке, второй период — в Греции, где «противопоставляла себя рели-гии общественной». Третьим периодом была александрийская философия, которая «собрала религиозные предания и перепла-вила их в одно умозрительное созерцание». После появления сверхъестественной религии должны были, по словам г. Ор. Но-вицкого, повториться те же три периода.

Те же изменения философии находим и в мире христианском. И здесь философская мысль сначала заключается в пределах христианской религии, развивается под ее влиянием и выражает свое содержание в общем виде: такова философия отцов церкви и схоластическая; такова же философия и аравитян в ее отношении к исламу. Потом философия отрешается от религии, вступает на путь самостоятельного исследования вещей и в своей ревности к своеобразному развитию иногда явно противопоставляет себя рели-гиозным идеям: такова философия новая — англичан, французов, немцев. Наконец, надобно ожидать еще третьего периода — возвращения философии к христианской религии. Такое ожидание не есть предсказание будущего, недоступного для нас; как скоро в мире христианском даны два периода, соответствующие двум первым из трех периодов мира языческого, то по здоровой аналогии следует ожидать и третьего, как из двух посылок — заклю-чения. И теперь уже чувствуется потребность сближения философии и рели-гии, и приближается время, когда убеждения религиозные и созерцания фи-лософские сольются в гармоническое единство по высшим требованиям ра-зума и веры; но пока — это есть еще предмет желаний и надежд.

Не будучи богословами, мы не станем рассматривать того, бывало ли для религии полезно то смешение философии с рели-гиею, которого желает г. Орест Новицкий. Нам кажется, что каждый человек должен делать собственно то дело, которое делает (разумеется, если это дело не дурное само по себе); а если, делая одно, станет думать, что делает другое, то он будет действовать под влиянием заблуждения, и вся его деятельность будет оши-бочна. По словам г. Ореста Новицкого, религия отличается от философии и всякой другой науки по своему источнику и по спо-собности, которая служит органом ее; она происходит из откро-

вения и состоит в чувстве; философия, подобно другим наукам, основывается на наблюдении, создается умом; религия состоит в вере, наука — в знании. Но будто бы в этом состоит главная разница между ними? Нет, если мы обратимся за разъяснением вопроса к учителям, которые понимали откровенную религию наименее справедливым образом, к великим отцам церкви, мы услышим от них, что откровенная религия различается от светской науки и по самому предмету истин, которым научает: откровенная религия отвергает человеку мир духовный, недоступный внешним чувствам, она говорит нам о таинствах св. троицы, о предвечном божеском совете искупления людей смертью богосына, о чиновначалиях ангелов, о падении злых духов, о воскресении мертвых, о страшном суде, о тайнах будущей жизни. Земное знание не касается этих великих истин, принадлежащих сфере, не достижимой для него по своей возвышенности; оно может сообщать нам только сведения о внешней и материальной природе и о человеке, как о существе земном, материальном. Божественное откровение вводит людей в знание «премудрости божией, в тайне сокровенной», сообщает человеку истины, которых «глаз не видел и ухо не слышало» и которые даже «на мысль человеку не входили» до получения откровенного свыше знания о них. Так учат отцы церкви, понимавшие религию откровения с совершенной ясностью. По их учению, — учению верному и подтверждаемому нынешними философами, отрешившимися и от схоластических заблуждений, и от самообольщений трансцендентальной априоричности Шеллинга и Гегеля, — разница между религиею откровения и земною наукою состоит не в том, что религия дает только веру, а не дает знания, между тем как наука дает знание, — нет, по учению великих отцов церкви, откровенная религия дает человеку и знание так же, как наука, но знание не о тех предметах, которые доступны земной науке, а о совершенно иных, несравненно высочайших. Г. Орест Новицкий, следуя заблуждению схоластиков, смешивавших философию Аристотеля с истинами христианской религии, следуя примеру трансцендентальных философов, сливавших откровенную религию с наукою, затмил в себе, подобно им, истинные понятия и о том, и о другом: он не понимает ни учения отцов церкви, ни духа земной науки. Это затемнение произведено тем, что он захотел быть специалистом по двум предметам, из которых каждый довольно велик, чтобы остаться неполно объятым и тогда, когда человек на изучение его одного употребит все свои силы, всю свою жизнь: у г. Ореста Новицкого недостало ни времени, ни сил основательно изучить ни религию, ни земную науку.

Г. Ор. Новицкий воображает, что он философ; если так, он должен быть философом, а не богословом. То, что доступно одному, недоступно другому. Но из всего видно, что наука кажется ему неудовлетворительной, что он ставит религию выше филосо-

фии и по достоверности, и по достоинству идей. Если так, ему следовало бы бросить науку, перестать воображать себя философом и сделаться преподавателем религиозного учения. Он сам говорит, что оно приносит гораздо больше пользы, чем философия; зачем же он тратит свое время на дело очень мало полезное, не занимаясь делом несравненно полезнейшим? Он неправ сам перед собою.

Предоставляя его собственному его порицанию, мы обратимся к его книге. Если б он написал ее с той точки зрения, которая ему самому представляется справедливейшею, его книга могла бы удовлетворить собою людей, разделяющих его образ мыслей. С богословской точки зрения языческие учения были греховными порождениями отца лжи, во власть которого впали люди, отпавшие от истинного бога; отцы церкви находили частицы истины и в учениях древних философов, но это мерцание откровенной истины относили к откровению бога-слова. По своему образу разумения отношений между религиею и философиею, не совершенно согласному с истинною, какую находим в чистейшем источнике, г. Ор. Новицкому следовало бы говорить о языческих религиях и системах философии в этом тоне, изобличать их несогласия с христианским вероучением, показывать, что все они без исключения учили человека разврату и преступлениям или, точнее выражаясь, греховным, бесовским делам. С этой точки зрения он выставлял бы дурную сторону и в буддизме, обольщающем человека своею кротостью и видимою нравственною чистотою, и в учении Сократа, и даже в философии самого Платона. Он видел бы тогда, что все эти системы были злоухищрениями сатаны, облакающего детей своих в одежды овчие, чтобы тем легче растерзать ему волчьими зубами обольщенные души язычников. Г. Ор. Новицкий мог бы очень последовательно провести этот взгляд, и в его книге была бы логика; но он вздумал поступить иначе, — вздумал говорить о языческих учениях в таком тоне, который отвергается его собственною точкою зрения, и книга его вышла ни для кого непригодною смесью греховных философских мыслей с мыслями, одобряемыми богословием. Одна половина строк в ней разногласит с другою половиною.

Скажем более: если бы г. Ор. Новицкий поступал сообразно с своими убеждениями, он вовсе и не выбрал бы древних языческих религиозных и философских учений предметом своего сочинения. Человек, находящий безусловную истину в религии сверхъестественного откровения, не может заниматься языческими учениями с холодною ученою целью. Все они для него — плоды лжи и греха. Отношения к лжи и греху возможны только двоякого рода: или предаваться им, служить им, или бороться с ними, опровергать их. Но г. Орест Новицкий уже познал суету лжи, душепагубность греха, — стало быть, не может служить им; итак, ему оставалось бы только изобличать их, полемизировать против

них, искоренять их. Но он не может не видеть, что это — дело совершенно ненужное в наше время в цивилизованной Европе, к которой принадлежит публика, читающая русские книги. Русские люди могут иметь свои умственные и сердечные недостатки, но никто не скажет, чтобы для русских были опасны языческие верования древнего Востока, Греции, Рима; никто из наших соотечественников по племени не поклоняется ни Зевесу, ни Шиве, ни Ариману, ни Озирису; предостерегать нас от таких заблуждений дело совершенно излишнее. Это все равно, что предостерегать русскую публику от людоедства, от едения мухомора или жирной глины, от дурных привычек, существующих между дикарями острова Явы, чукчами и бушменами: мы, к счастью, стоим уже гораздо выше таких привычек и никак не могли бы впасть в них даже без всяких предостережений. Говорить о язычестве с богословской точки зрения надобно не с русскими, а с чувашами, бурятами, самоедами: вот они действительно нуждаются в изобличениях лживости и греховности язычества. Но для них нельзя писать книг на русском языке, потому что эти несчастные люди не умеют читать книг ни на русском, ни даже на своем собственном языке. Разоблачать перед ними язычество можно только одним способом: научиться их языку, сделаться миссионером и, странствуя по их юртам, беседовать с ними. Если бы г. Ор. Новицкий занялся этим, если бы он сделался миссионером между бурятами или тунгузами, он стал бы заниматься делом поистине полезным и похвальным, разумеется, при соблюдении того условия, чтобы проповедь его совершалась в духе кротости. Но с понятиями, при которых можно рассуждать о язычестве только с самоедами языком кроткого миссионера, г. Ор. Новицкий вздумал писать о язычестве для русской публики тоном ученого. Мы боимся, что весь труд его пропал напрасно.

Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии.
Сочинение американского писателя *Натаниэля Готорна*¹. Санкт-петербург. 1860 г.

Готорн — писатель великого таланта, и надобно было надеяться, что он превосходно перескажет мифологические предания; в его таланте есть особенность, делавшая его необыкновенно способным к отличному исполнению взятой им на себя задачи. После Гофмана не было рассказчика с такой склонностью к фантастическому, как Готорн. С фантастичностью счастливо соединяется в нем обыкновенная принадлежность таланта, главная сила которого состоит в богатстве фантазии: он простодушен. Повидимому, нельзя было бы найти лучшего сказочника для детей. Но вышло не то: книжка, переведенная теперь на русский язык, написана очень талантливо, а все-таки оказывается плохой.

Беда произошла оттого, что Готорн почел нужным переделывать передаваемые им греческие мифы. Впрочем, переделка переделке рознь. Гёте переделал индийский миф о «Магадеве и Баядерке», греческое сказание о посещении, сделанном умершему невестою жениху, и рассказы не стали хуже от переделки: «Магадева и Баядерка», «Коринфская невеста» — вещи превосходные. Гёте переделал также легенду о Фаусте, и первая часть «Фауста» также вышла удивительно прекрасное создание. Хорошо вышло в этих случаях потому, что переделка совершалась по разумному основанию: поэт находил в старинных рассказах намеки на идею, которой сам был проникнут, развивал этот намек, ярко выставлял тот смысл, какой могли видеть в старом предании люди ему современные. Бывают хорошие переделки и другого рода: автор, имея в виду, что читатели, которым он пересказывает предания иной страны, иной эпохи, — люди неученые, не успевшие приобрести археологических, исторических, этнографических сведений, какие нужны для легкого понимания передаваемых рассказов, для верной оценки их, для полного наслаждения, чувствует надобность незаметно вплести в рассказ сведения, какие нужны его читателям; если он человек с талантом и сам получил достаточное образование, он исполнит эту надобность удачно, без педантизма, без неловких натяжек, так что читать его рассказ будет очень легко, и для людей неученых гораздо легче, чем читать предания в оригинальной форме. Так Нибуэр передавал детям мифы классической древности в рассказах, которые посвятил своему маленькому сыну. Но Готорн переделывал их не по этим надобностям, не для того, чтобы сделать понятнее, и не для того, чтобы развить их смысл сообразно с идеями своего века: он ударился в то, что обыкновенно называют художественностью люди, не имеющие понятия о художественности; вдобавок вообразил, что в подлинных рассказах много неприличного, могущего развратить детское воображение, что надобно уродовать их для сглаживания в них того, что люди с развращенным воображением считают безнравственностью. Он писал под влиянием двух этих мыслей, и результатом вышло — дрянь.

Число дрянных книжек для детского чтения так велико, что, разумеется, не стоило бы много заниматься появлением еще одной такого же достоинства; а эти многочисленные дрянные книжки так плохи, что рассказы Готорна могут даже назваться очень сносными по сравнению с другими (тем более, что изданы недурно и язык перевода довольно недурен); стало быть, не для чего было бы много заниматься доказыванием, что Готорн написал для детей плоховатую книжку. Но нам вздумалось произвести вивисекцию этой книжки на пользу и назидание нашим собственным авторам так называемых художественных произведений: авось, кто-нибудь из них увидит, что урок может относиться и к нему с его собратьями. Мы станем говорить о Готорне, чело-

веке постороннем, значит, речь наша будет безобидна для своих; а свои сделают недурно, если поразмыслят над ней: ведь и за ними, между нами будь сказано, водятся те самые грешки, благодаря которым так шлепнулся в мифологических рассказах Готторн, несмотря на свой огромный талант, — такой огромный, что из наших художников не найдется ни одного, равного ему по таланту. А если человек более сильный, чем они, написал плохо оттого, что писал неблагоприятно, то, значит, им еще больше надобности в благоразумных мыслях.

Соблазн считать перерабатываемый материал нуждающимся в моральной подчистке будет у Готторна извинительнее, чем у наших художников: ведь Готторн писал для детей, а они хотят иметь читателями взрослых людей. Да и греческие мифы составились под влиянием обычаев, из которых иные были решительно противны нынешнему развитию цивилизации, — например, отношения, апотеозом которых служат мифы о Леде или о Ганимеду. Важность не в том, что рассказываются тут известные факты, а в том, что рассказываемые факты выставляются явлениями законными, хорошими. Трудно решить, как поступать с подобными материалами писателю, публику которого должны быть люди того возраста или умственного развития, которому совершенно чужда самая мысль о существовании таких фактов, как отношения Юпитера к Ганимеду. Обыкновенно говорят, что благоприятнее всего оставлять их в незнании об этих дурных вещах, к счастью, неизвестных им. Ответ совершенно справедливый в применении к тем случаям, когда действительно существует в наших слушателях или читателях предполагаемое ими условие незнания фактов того рода, какие мы сочтем полезным скрывать от них. Но в том и беда, что это условие встречается на самом деле несравненно реже, чем предполагают угаивающие воспитатели и учителя, слишком наивно забывающие о собственном детстве и о характере житейских событий и разговоров, среди которых растет ребенок. Из тысячи детей разве одно воспитывается так заботливо, что не видит и не слышит беспрепятственно тех вещей, о которых не говорит с ним воспитатель или учитель, будто с не знающим о них. Предположим случай почти невозможный, — предположим, что вся семья и вся прислуга в жилище ребенка — люди совершенно нравственные и в поступках, и в словах; но ведь ребенок прогуливается же иногда по улице, а на улице нельзя пробыть пяти минут, не услышав сквернословия. Положим, что он не видит грязных сцен между людьми (чего трудно ожидать, если он не содержится взаперти); но ведь по двору и по улице под его окнами бегают куры, собаки, а в его комнате летают мухи: на них он довольно насмотрится того, чего по нашему предположению не видал от людей. Разумеется, мы делаем предположение совершенно фантастическое, когда берем такую обстановку ребенка, чтобы разговоры и действия домашних не

разоблачали перед ним очень часто тех вещей, которых по нашему мнению не следовало бы знать ему. Мы все так неосторожны, привычка говорить о скандалах и не соблюдать деликатности в собственной жизни так сильна в нас, что от нас самих ребенок наглядится и наслушается всего того, что привлекает к Фоблазу известных читателей и читательниц. Если бы самое знание фактов, самый звук слов были так гибельны для нравственной чистоты, как обыкновенно полагают, все семилетние девочки и мальчики в нашем обществе и во всяком другом вынешнем обществе были бы до крайности развратны. Но этого нет. Кроме особенно несчастных случаев, очень искусственной обстановки, дети сохраняют чистоту. Кто наблюдает жизнь, беспрестанно встречает примеры этой чистоты, рассказ о которых был бы изумителен, невероятен для людей, судящих по предубеждению, а не по исследованию действительной жизни. Часто вы встречаете взрослую девушку, выросшую среди самого грязного домашнего быта и сохранившую столь полную чистоту не только в своих поступках и чувствах, но и в самой фантазии, что хочется повторить о ней слова Гамлета об Офелии:

С этой чистой душой, среди этих людей
Белый голубь она в черной стае грачей.

Часто вертепами цинизма бывают не то что жилища несчастных женщин, презираемых порядочным обществом, а жилища семейств, пользующихся почетом в том же самом обществе; но и в этих семействах дочери до очень поздней поры бывают обыкновенно невинны, чему не поверили бы мы сами, если бы несчастья следующей жизни этих девушек не показывали, что даже и они в 16, в 18 лет не были готовы к той роли, какая достается им. О мальчиках и юношах нельзя сказать того же только по одному чисто физическому отношению: большая часть из них очень рано испытывают физическую любовь; но — факт опять невероятный для людей, судящих по готовым предрассудкам и внешним признакам, а не по наблюдению сущности дела, — эти мальчики, испытывавшие наслаждение, которое по пошлости обыкновенных отношений слишком часто сопровождается чем-то похожим на разврат, — даже и они до очень поздней поры обыкновенно сохраняют невинность души и очень часто остается чисто даже их воображение. Это доказывается чистотою чувства, какое испытывают почти все они в юношестве, встречаясь с порядочными женщинами: очень мало таких испорченных юношей, которые, несмотря на свои прежние физические отношения к женщинам, не испытывали бы того, что называется первой любовью или платонической любовью, — название ошибочное, потому что дело не в том, которая по счету женщина внушает мужчине благородное чувство, а платонизм говорит об идеальной сентиментальности, которая очень приторна и скользка, — но мы указываем

не на имена чувства, а на его характер. С 13—14 лет мальчик испытывает приятные любовные шалости, но все-таки в 18 или в 20 лет проникается самым чистым чувством к женщине: он робок с ней, застенчив, краснеет, бледнеет, готов пожертвовать жизнью для ее счастья, — не только для ее счастья, — для ее каприза или для того, чтобы получить от нее пожатие руки, ласковое слово... Как вы думаете, неужели красавицы не заманивали много раз в свои комнаты того пажа, о котором рассказывает Шиллер в балладе, названной у Жуковского «Кубком»? Наверное он знал ласки многих женщин; а посмотрите, что сделалось с ним, когда пришла пора ему испытать настоящую любовь. Зачем он бросился в пучину первый раз? Он сам не смеет подумать о награде, которой ждет за свою смелость: он хочет того, чтобы царица подумала: «он лучше всех этих рыцарей». Он сам боится отдать себе отчет в этой надежде, которую отваживается выразить лишь одним, самым неопределенным намеком в своем рассказе:

И был я один с неизбежной судьбой
От взора людей далеко,
Один меж чудовищ, с любящей душой...

Слышите ли, он позволяет себе сказать лишь то, что любит, — кого любит, на это нет никакого намека; хоть бы взглянул он при этих словах на царицу, — нет, и того он не смеет. Он слишком хорошо испытал ужас пучины: он не имел никакого понятия о нем, пока не был в ней сам, и никто из окружающих не может вообразить, как ужасна была судьба, на которую он обрекал себя. Тогда он содрогнулся, конечно в первый раз в жизни, и сам он говорит, что страшно ему и подумать о том, что испытал. А между тем он опять бросается на эту страшную смерть, лишь только увидел, что царице жаль его, что она не совсем холодна к нему. Она просит отца не посылать отважного юношу за кубком во второй раз, — этого довольно:

В нем жизнью небесной душа зажжена,
Отважность сверкнула в очах.
Он видит, краснеет, бледнеет она,
Он видит, в ней жалость и страх, —
Тогда, неописанной радости полный,
На жизнь и погибель он бросился в волны...

Что же, отважился ли он попросить поцелуя у невесты, обещанной ему за подвиг, или хоть поцеловать ей руку на прощанье, или хоть сказать ей слово?.. Нет, ему это было труднее, чем умереть для нее. Кто наблюдает жизнь, тот беспрестанно видит правду шиллерова рассказа, видит ее почти на каждом из молодых людей, на которых смотрит. Всякая утрировка переходит в обратную утрировку: педанты, претендующие на идеальное понятие о высоких добродетелях, к каким способен человек, имеют слыш-

ком грязное понятие о людях, которых видят в действительной жизни. Они требуют, чтобы девушка или молодой человек не слышали ни одного слова о вещах, с которыми, по их мнению, не следует знакомиться человеку в этом возрасте; зато чрезвычайно легко сделаться нравственно погибшим существом в их мнении. В обоих отношениях они одинаково фантазеры: они хотят держать человека в чистоте лишь потому, что он, по их мнению, слишком падок на грязь: они воображают его зловонным животным и оттого льют на него целыми ушатами эс-букет своих нравственных речей. Человек не нуждается в таком избытке косметических средств, потому что он — человек: грязь мерзка для него, и потому разве от слишком сильного и долгого втаптывания в грязь получает он привычку к ней. Можете вовсе не беречь его нравственность, и он будет нравственен, если вы, поклонники нравственности, сами не принудите его к разврату вашим безумным обращением с ним.

Дело в том, что пока не пробудилась в человеке органическая потребность известного удовольствия, оно вовсе не составляет для него удовольствия, не тянет его к себе, не привлекает к себе не только его чувства, даже его внимания. Дети, видя, что старшие каждый вечер по несколько часов сидят за преферансом, все-таки любят не сиденье за ломберным столом с картами в руках, а любят бегать, шалить, резвиться. Потребность, сажающая людей за копеечный преферанс, — скука головы, требующей умственного труда и не находящей его; дети не чувствуют этой умственной пустоты, для них шалости служат достаточным занятием, и оттого они не сядут за карточный стол, пока не станут взрослыми людьми и притом взрослыми людьми в пустом обществе. Преферанс непривлекателен для них. Конечно, если старшие позаботятся, то могут и в десятилетних мальчиках развить страсть к преферансу: пусть разгорячат воображение детей рассказами, что приятнее всего выигрывать деньги у других, пусть внушают им презрение к детским играм, не дающим денежного выигрыша, и, может быть, мальчики и девочки начнут мечтать не об игрушках и беготне, а об десяти в червях. Впрочем, этих моральных раздражений едва ли будет достаточно: вероятно, понадобится прибегнуть к физическим средствам. Заприте детей в тесных комнатах, отнимите у них игрушки, не велите им шуметь, велите сидеть неподвижно, — тогда они возьмутся за карты. Подобной пытке подвергаются те бедные дети, которые раньше, чем следует, принимаются за физическую любовь или искусственные способы заменять ее. Им беспрестанно толкуют, чтобы они подражали старшим — вот они и подражают. Им внушают презрение к детству, хотят преждевременно сделать их взрослыми, — вот они и делаются. Кто хочет, чтобы дети сохраняли нравственную чистоту, вовсе не нуждается в обманывании их, в утайке от них; он только не должен убивать в них самостоя-

тельности, подавлять в них наклонностей, принадлежащих детству: детские игры так будут наполнять их воображение, что не останется им времени, не будет у них охоты думать об удовольствиях, которых еще не требует их организм. Если вы не испортили детей принуждением, то пусть они читают какие хотят книги: они во всех книгах будут замечать лишь шумные сцены сражений, разных геройских подвигов, а любовные интриги будут пропускать они без всякого внимания. Пусть каждый, чье детство не было убито слишком тяжелой стеснительностью педантического надзора, слишком натянутой формалистикой, припомнит, какое впечатление оставляли в его детской голове романы, читанные в 10, 12 или 14 лет: все эротические страницы он перевертывал с пренебрежением, отыскивая дуэлей, драк с зверьми или с разбойниками, страшных приключений; для него существовал только сказочный интерес драматических внешних происшествий, и чем шумнее были они, тем лучше казалась книга. Мы помним про себя, как в детстве с восторгом перечитывали раз двадцать в Римской истории Роллена период Самнитских войн, по которому тянется непрерывный ряд сражений²: никакой роман не занимал нас так, как эти страницы, которых не в состоянии прочесть взрослый человек по их невыносимой монотонности. Около того же времени попался нам в руки какой-то скандальный роман покойного Степанова, кажется, «Тайна», а может быть, «Постоялый двор»: мы не прочли и половины первой части, так скучна показалась нам эта книга. Через несколько времени было прочтено нами несколько романов Поль-де-Кока. Нас очень забавляли в них уморительные приключения вроде того, как один господин сталкивает другого с лестницы, или, вышедши прогуливаться, вдруг замечает среди многолюдной улицы, что на нем нет галстука и что мальчишки бегут за ним, выделывая разные гримасы. В цинических сценах мы замечали только смешную сторону. Например, входит дама в комнату, где живут три студента, у которых только один костюм, поочередно надеваемый дежурным счастливецом, между тем как двое других сидят завернувшись в простыни. Увидев такую нелепую картину, дама в ужасе кричит, студенты тоже кричат, и двое, которые в простынях, лезут под кровати, а дама бежит, падает, разбивает нос, опять бежит, опять спотыкается, — это ужасно смешно! Циническая сторона сцены совершенно не была замечена нами. Каждый может проверить справедливость этих воспоминаний, если потрудится наблюдать впечатления и мысли ребенка, лишь бы ребенок был обыкновенный, не слишком обезображенный постороннею заботливостью обратить его в миниатюрную карикатуру взрослого человека.

Готорн не понимает этого; он воображает, что ребенок сосредоточит все свое внимание на эротической стороне рассказа, будет даже доискиваться, нет ли каких-нибудь любовных отношений там, где прямо не говорится о них: он воображает детей похожими

на злоязычных старух или пожилых развратников, которые не могут слышать женское имя без того, чтобы не приплести к нему скандальных сплетен или цинических грез. Потому он с забавной щепетильностью, доходящею до совершенной нелепости, выпускает из греческих мифов все похожее на любовь или переделывает их самым пошлым образом, чтобы предохранить детей от мысли, которая и без того не вошла бы в их маленькие головы. Очень потешна в этом отношении его история о ящике Пандоры. Миф говорит, что ящик был свадебным подарком Пандоре, которая выходила замуж, — больше этого ничего и не говорится, и, кажется, скандального тут мало. Вероятно, дети без мифа знают, что их маменька — жена их папеньки (хорошо, если они знают это, а не то, что их маменька — не жена их папеньки, а жена у папеньки — другая женщина, или что у их папеньки есть дети кроме их, маменькиных детей, — случай довольно частый и всегда известный детям в тех семействах, где бывают подобные случаи). Вероятно, дети знают, что взрослые девушки выходят замуж и их старшая сестрица — невеста или скоро будет невеста (хорошо, если они знают только это, а не то, что вот такая-то вот взрослая девушка, может быть, их сестрица, дала над собой какому-то молодому человеку сделать то, что следует делать только после свадьбы, и оттого все бранят ее). Короче сказать, в словах мифа, что когда Пандора выходила замуж за Эпиметей, Меркурий принес ей вместо свадебного подарка очень красивый ящик, — в этих словах нет, повидимому, ровно ничего цинического, скандального или такого, знание о чем можно было бы утаить от детей. Но Готорн сообразил очень проникательно: «свадьба, невеста, жених... Какие скандальные слова! К каким соблазнительным мыслям поведут они детей!» Сообразно такому мудрому размышлению, он взял да и переделал начало мифа следующим образом:

В древнее время, о! да ведь в такое древнее, когда старый свет только что еще рождался, жил мальчик по имени Эпиметей, у которого никогда не было ни отца, ни матери; а чтоб ему не было скучно, то ему прислали из очень дальней стороны другого ребенка, тоже без отца и матери, чтобы им вместе играть. Это была маленькая девочка, которую звали Пандора.

Первое, что бросилось ей в глаза в ту минуту, когда она поставила ногу на порог хижины, где жил Эпиметей, — был большой ящик.

Прелестно. Цель забавна, но посмотрим, достиг ли Готорн хотя своей жалкой цели. Мальчику скучно: чтобы развлечь его, нужна девочка. Почему же девочка? Зачем мальчику девочка? Мальчику с мальчиком веселей играть, чем с девочкой. Для чего же Эпиметею нужна девочка? Верно, тут есть какая-нибудь особенная забава, и, верно, эта забава приятнее тех игр, в которые играют мальчики с мальчиками? Если фантазия детей так загрязнена, что слова «свадьба», «жених», «невеста» наводят их на грезы о физической любви, то готорнова переделка еще скорее

привлечет их к этим грезам. Уж если быть последовательным, так надобно было ему изгнать из своих рассказов либо слово «мальчик», либо слово «девочка»: он находит нужным взрослых людей обращать в детей, чтобы охранить от скандала, так уж надобно было всех детей одеть в один костюм, чтобы все были мальчики. Для чтения мальчиков это было бы хорошо. Но вот беда, если книгу станут читать девочки: с ними не годится говорить о мальчиках, это наведет их на дурную мысль. Итак, будем писать для мальчиков особые сказки, для девочек — особые: из одних изгоним слова «женщина», «девушка», «девочка»; надобно уже для полного достижения цели изгнать слова «сестра» и «мать»; не мешаает изгнать местоимение женского рода «она», а то ведь и оно наведет на дурные мысли; а чтоб изгнать его, надобно будет избегать всяких существительных женского рода: вместо «дверь» будем писать «ставень», вместо «рука» будем писать «глаз», вместо «стена» будем писать «потолок». Из книг для девочек, напротив, изгоним слова «мальчик», «муж», «отец», «брат», «он»; «нос» заменим «ногой», «язык» — «головой» и т. д. Но слово «мужчина» можно оставить: оно с виду походит на «женщину»; только уже будем употреблять его в женском роде: «сия добрая мужчина».

Нам с Готорном хорошо; мы шутки шутим по своим глупостям. Но вообразите себе, какие вещи должны происходить на свете, если бы нашлись люди, держащиеся подобных правил, ослепленные подобными фантазиями в серьезных вещах. «Этого не говорите, это наведет на дурные мысли; и вот этого не говорите, это тоже поведет к дурным мыслям; а говорите вот что; это не возбудит дурных мыслей, и говорите еще вот что — это возбудит хорошие мысли». Ах, вы, чудачки, чудачки! Да разве вы в самом деле успеете скрыть что-нибудь такое, что захотят знать люди? Да разве то, что скрываете вы от них, не видят и не слышат они на каждом шагу? Если они не делают того, что вас пугает, от мысли о чем думаете вы удержать их вашими стараниями утаить шило в мешке, так это просто значит, что не пришло еще им время приняться за это дело, что они еще не хотят думать о нем, что у них еще не пробудилась потребность к нему; а когда придет пора, заметят они шило в мешке, старайтесь или не старайтесь вы скрыть его. Да и как не заметить? — ведь оно колет их: а если они еще не замечают его, значит, они еще так не привыкли думать, что не сообразят связи между своею болью и шилом. А пока еще так слабо в них соображение, вы безопасно могли бы допустить их слушать, что угодно: ведь все равно, они ничего бы не поняли. Кроме шуток, если люди сами не умеют знать того, что могли бы узнать от других, это значит, что они еще не чувствуют надобности, не хотят знать; а когда захотят, никакими способами ничего не скроете от них; потому всякая утайка совершенно напрасна.

Но оставим мысли об исторических делах, чтобы заняться литературными вопросами, которые, как известно читателю, гораздо важнее и милее для нас всех общественных дел. Иные люди могут иметь свой расчет, когда утаивают и искажают факты, как Готорн искажает греческие мифы; но какая надобность может заставлять художника искажать психологическую истину в своих произведениях? Ведь ему от этого нет никакой выгоды, он тут поступает чисто по слепому предубеждению. Мы припомним один пример, не называя имен. Есть одна прекрасная повесть, героем которой, как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий, затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, — человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в историю, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний. Кажется, такой человек мог быть изображен как человек серьезный. Автор повести, кажется, и хотел так сделать; но вдруг ему вздумалось: «а что же скажут мои литературные советники, люди такие рассудительные, умеющие так хорошо упрочивать свое состояние, если получили его в наследство, или, по крайней мере, с таким достоинством держать себя в кругу людей с состоянием, если сами не получили большого наследства? Человек, который так расстроил свои семейные отношения, что остался безо всего при существовании значительного родового имени, который занимал деньги у богатых приятелей, чтобы раздавать их бедным приятелям, — нет, такой человек не может считаться серьезным по суду моих благоразумных советников». И вот автор стал переделывать избранный им тип, вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как будто лев годится для карикатуры. Разумеется, такое странное искажение не удалось, да и самому автору по временам, кажется, было совестно представлять пустым человеком исторического деятеля. Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее шиллерова *Дон-Карлоса*, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей³.

Можно бы припомнить и еще несколько повестей в том же роде, — повестей прекрасных, лучших в нынешней нашей литературе, но имеющих только один маленький недостаток: автор боялся компрометировать себя или своих героев и героинь: он боялся, что скажут: «это безнравственно». Быть может, у него была и та боязнь, как у Готорна: читатели столь невинны и вместе столь склонны к порче, что грешно рассказывать им вещи так, как сам их знаешь: ну, неравно соблазнишь их на что-нибудь дурное, о чем они и не будут иметь понятия, если я не скажу им этого? Нет-с, пишите то, что знаете; никого из нас не удивите, мы все знаем не меньше вашего. И если мы еще

не совсем испорчены, так это не потому, чтобы мы не знали, какова жизнь, а потому, что не чужими словами портится человек и не сценами, которые видит, а только собственным положением. Ради собственной вашей репутации не подражайте Готорну: ведь и для детей смешно, когда он боится вымолвить слова «жених» и «невеста».

Но Готорн не удовлетворяется тем, что переделывает греческие мифы из безнравственных в нравственные. Он находит, что надобно придавать им привлекательность художественною отделкою: без нее они были бы слишком сухи, имели бы слишком мало картинности, лица не выходили бы рельефны. Вот он и придает им художественность. В чем же состоит она? А вот в чем. В подлиннике миф рассказан на двух страничках, он растягивает его на пятьдесят страниц. Если в мифе сказано «поле», он размалевывает, что на этом поле растет трава, и какая трава, и как приятно смотреть на траву: тут для красоты подвернется ему и корова, — вот она ходит по полю, щиплет траву: все описано — какая корова и как щиплет; к корове кстати приписан пастух, и пастух описан. Если в мифе сказано: «Пандоре хотелось раскрыть ящик, а Эпиметей говорил, что это запрещено», Готорн размалевывает из этих слов длинейший разговор, очень мило, с глубоким психологическим анализом, с ловко подмеченными переходами речей и переливами чувств, какие бывают при подобных спорах. Это размазывание и растягивание чрезвычайно украшает рассказываемую историю, — по крайней мере, так думает Готорн.

Нам было бы мало убытка, если бы так думал и делал только Готорн. Но на беду припоминается нам одно из прекраснейших произведений отечественной литературы. Недавно мы читали на целых тридцати или пятидесяти страницах очень милое развитие следующего положения: беседует молодой человек с молодой дамой; он говорит: «вам скучно», она говорит: «нет»; он возражает: «нет, вам скучно, потому что вы не живете, вы не наслаждаетесь жизнью», — положение очень хорошее и предмет разговора прекрасный, но, вероятно, у Шекспира, — или куда уж нам до Шекспира! — вероятно, и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Гоголя такая сцена никак не заняла бы более двух страниц и все было бы высказано на этих двух страницах: и характеры разговаривающих обрисованы очень рельефно, и с полною живостью высказаны все мысли, которыми обменивались разговаривающие. Так, но Лермонтов и Пушкин нам не указ: они не художники, а мы художники. У них был талант — отрицать нельзя, но пользоваться им они не умели. Разверните «Героя нашего времени»: просто жалость как скомканы, сбиты все сцены; ничего развитого, ничего художественного: скажет несколькими словами, в чем сущность дела, и идет дальше. Нет, мы сделали бы не так. Растягивай, размазывай, повторяй, тверди одно и то же по двадцати раз, все с новыми (очень грациозными) вариациями, пере-

ливами красок, модуляциями мыслей, оттенками чувства. У нас, например, если герой надевает туфли, надевание занимает, по крайней мере, полторы страницы, а надевает он их раз десять, и каждый раз у нас достанет искусства написать об этом по полторы страницы: вот уж подлинно художественность, — на то у меня и талант. Попробуйте-ко вы тянуть эту руладу, у вас голоса не достанет, а я тяну. Прекрасно, только искусство ваше несколько напоминает процесс, совершаемый за обедом беззубыми стариками: у кого зубы хорошие, сразу раскусывает кусок, а беззубый бедняжка жует, жует его, мямлет, мямлет, так что дивисься только: как это, господи, достает у человека терпения. По-нашему, уж и не берись за такой кусок, которого сразу не раскусишь. — Зато художественно, зато талант виден. Оно так, автору приятно, и в произведении сладость сахарная, только читать тяжеловато. Все равно как слушаешь человека, который и очень умно говорит, только косноязычен: тянет, тянет, так душу из тебя и вытягивает. О, мы умеем пользоваться своими лицами и положениями! Если, например, девушка попадается нам в руки, мы ее всю по ниточке размочалим: «она была очень грациозна», — и напишем страницу, как она была грациозна; «она улыбнулась ему в ответ», — и опишем, как улыбнулась. Тютрюмов⁴ не умеет так бобровые воротники писать, как мы умеем все описывать. Вы можете восхищаться Рафаэлем и Шекспиром, а по нашему мнению, мы с Тютрюмовым выше Рафаэля и Шекспира. Хотите ли образчик нашей художественности? — вот он. Положим, молодой человек идет в сад, чтобы встретить там любимую девушку и сказать ей, что любит ее. По вашему нехудожественному рассуждению дело и состоит в том, чтобы рассказать встречу их. Нет, позвольте... По нашему мнению, очень интересна была минута, когда герой причесывал голову.

Вот и галстук повязан. Иван Андреевич сел перед маленьким столиком орехового дерева, слегка растреснувшимся посредине. «Вот она, неопытность холостой жизни, подумал он. Федор не догадается, что надобно бы столик отодвинуть от окна в простенок: вон как его перекоробило солнцем». Иван Андреевич взял в руки гребень и осмотрел его; один зуб расщепился: «тоже никому нет дела присмотреть, что гребень уже не годится: то ли дело, когда дом озарен и оживлен присутствием милой женщины; при ней не будешь держать себя неряхой; при ней и Федор был бы расторопней». Он взглянул в зеркало, стоявшее на столике. Оно было в овальной рамке красного дерева старинного фасона с бронзовыми украшениями и инкрустацией: «что за безвкусица — на ореховом столике зеркало красного дерева. Черяха, лентяй, сонливцев...» Он с упреком взглянул на лицо, отражавшееся перед ним в зеркале. Живая мысль уже светлелась на этом лице, которое неделю тому назад помнилось ему таким вялым, таким сонным. В отворенное окно влетела бабочка; радужная пыль ее бархатных крылышек искрилась на солнце будто миллионы маленьких бриллиантиков, изумрудиков, рубинов. Иван Андреевич с минуту любовался на бабочку. Он сравнивал ее с кем-то, с другим существом, столь же легким, столь же нежным, — и сладко было ему мечтать... «Однако же пора, — подумал он: — или еще нет?» Он знал, что давно пора, но он робел, ему было тяжело и сладко, он медлил, потому

что ему было хорошо; «да, пора, пора», подумал он и коснулся гребнем волос. (Описание волос было уже сделано семнадцать раз, потому здесь они не описываются: они уже довольно рельефно рисуются перед читателем.) Он медленно, с какой-то негой два раза провел гребнем по своим шелковистым волосам и задумался: он сам любовался своими белокурыми кудрями, кольца которых вились так мягко; он в первый раз заметил, что на висках у него показалось несколько седых волосков. (О том, что на висках у него было несколько седых волосков, читателю уже было сообщено четыре раза и впоследствии будет сообщено еще двадцать девять раз.) Гребень выпал из его руки, он задумчиво склонил лоб на другую руку, которая прежде лениво лежала на столике. Ему припомнилось время, когда еще не было седины в его кудрях. Вот перед ним широкая поляна с пыльной дорогой, ведущей к покачнувшемуся помещицкому дому... (Начинается описание деревни, в которой вырос Иван Андреевич, рассказывается его детство.)

Как это вам нравится, читатель? Мило, очень мило, только скучновато и длинновато немного. Девушка, начавшая читать, как собирался наш герой на свидание, может выйти замуж, может сделаться матерью, и сынок ее (очень милый шалун, мы его вам опишем при случае) может, резвясь, изорвать книжку, прежде чем бывшая барышня успеет дочитать повесть до той главы, где герой уже берется за ручку двери, чтобы идти в сад на свидание.

А ведь покайтесь, читатель, вы восхищались такими рассказами? Или не восхищались, а только уверяли, что восхищаетесь, потому что одни люди без художественной жилки в душе (это техническое выражение «художественная жила» очень нравится людям, его одаренным) могли не восхищаться такою художественностью?

Это разведение водою — художественность? Какая тут художественность! Художественность состоит в том, чтобы каждое слово было не только у места, — чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтоб как можно было меньше слов. Без сжатости нет художественности. Поэзия тем и отличается от прозы, что берет лишь самые существенные черты, и берет их так удачно, что они во всей полноте рисуются перед воображением читателя с двух, с трех слов гениального писателя. На пяти или десяти страницах описать лицо так, чтобы можно было знать все его приметы, — это сумеет сделать самый бездарный прозаик. Нет, вы художник только тогда, когда вам нужно всего пять строк, чтобы возбудить в воображении читателя такое же полное представление о предмете. Пустословие может быть очень милым, изящным пустословием, но с художественностью не имеет оно ничего общего. Поэзия и болтовня — вещи противоположные. Сущность поэзии в том, чтобы концентрировать содержание; разведение водою убивает ее.

Наши художники обращаются с нами, как Готторн с детьми: одни утаивают от нас жизненную правду, чтобы не соблазнить, не испортить нас; другие занимают нас пустословием, будто нам, как детям, приятно слушать болтовню: лишь бы звучал воздух какими-нибудь словами, лишь бы не было молчания, а то нам все равно, с удовольствием слушаем всякие пустяки. Хорошо было

бы, если б только художники обращались так с нами, если б только в вымышленных рассказах давали нам ложь вместо правды, пустословие вместо дела. Нет, с нами точно так же поступают и в вещах, от которых прямо зависит вся наша жизнь. Нас считают детьми. Хорошо, будем же брать пример хоть с детей, если уж в самом деле мы так неразвиты, так неопытны, так легковверны, так слабы. Разве дети бывают довольны такими пустяками, какими угощает их Готорн? Посмотрите, любит ли ребенок растянутость, водянистость рассказа? Нет, он беспрестанно понукает вас: «ну, что же дальше?», ну, что же дальше?» Говорите скорей; скорей ведите к концу сказку; говорите только самое существенное. Разве ребенок любит хитрые умолчания, двоедушную замену настоящих слов другими, не соответствующими делу? Нет, он требует, чтобы с ним говорили прямо, каждую вещь называли ее настоящим именем; он не потерпит смягчений и прикрас; если вы скажете ему: «Медуза была добрая девушка. Минотавр не пожирал людей а ласкал их», ребенок прямо скажет вам: «вы лжете, ведь чудовища злы и вредны людям: или вы хотите обольстить меня к мягкому мнению о них? Если так, пойдите прочь от меня, мне противно и скучно ваше лживое пустословие».

Но речь наша идет собственно о литературе, о повестях, о поэзии. Мы затем только и взялись за книжку Готорна, чтобы побеседовать с нашими художниками, с нашими лучшими беллетристами. Неужели мы так просты, что думаем своими замечаниями исправить высоко стоящих в литературе людей, недостатки которых указываем? Нет, им поздно исправляться: в них уже слишком ввелась привычка фальшивости и пустословия. Хорошо было бы, если б не поддались ей хотя те люди, которые только еще формируются теперь, только еще готовятся к деятельности. На этих людей мы с вами, читатель, еще могли бы иметь влияние: пусть они по нашему недовольству их предшественниками видят, что ничего хорошего не дождутся от нас, если не будут поступать лучше их. Пусть они знают, что будут отвергнуты нами, если вздумают лгать и пустословить.

Историческая библиотека. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи, с особенно подробным изложением хода литературы, *Ф. К. Шлоссера*¹, профессора истории при Гейдельбергском университете. Восемь томов. Перевод с четвертого, исправленного издания. Санкт-петербург. 1858—60 года.

Редакция «Исторической библиотеки» сообщила нам следующее объяснение о ходе своего издания:

«Кончив выдачу томов «Исторической библиотеки» за первые два года, мы считаем нелишним представить публике отчет

о начале предприятия, которое было новостью в нашей литературе.

Мы хотели знакомить публику с классическими творениями новой западноевропейской литературы по всеобщей истории, главным образом по истории Западной Европы и Америки в прошлом и нынешнем веке, думая, что эта часть истории наиболее важна, и находя, что именно с нею до сих пор труднее всего было знакомиться нам по совершенному отсутствию на русском языке книг, относящихся к ней. Мы уже имели переводы нескольких недурных сочинений об истории древнего мира и средних веков; но чем ближе к нашему времени события, тем скуднее были источники, из которых русский читатель мог получать правильное понятие о них. Сообразно этому плану, мы избрали для начала своего издания «Историю восемнадцатого и девятнадцатого столетий» Шлоссера, которая, обнимая собой почти все время, составлявшее предмет предполагаемого издания, служила бы общим фундаментом для разных монографий, избранных нами для перевода в следующих томах «Исторической библиотеки». Нам казалось удобнее всего дать сначала связный рассказ о всех частях предмета, чтобы к этой общей картине могли примыкать подробнейшие рассказы о разных отделах ее, заслуживающих особенного внимания.

Мы не скрывали от себя, что такое начало, требуемое, по нашему мнению, пользою самого дела, представляет и особенные затруднения. Творение, перевод которого занял по нашему плану первые томы «Исторической библиотеки», вовсе не таково, чтобы привлекать к себе людей, ценящих книгу по внешним достоинствам. Писатель суровый, враждебный всяким прикрасам, Шлоссер непохож на историков-беллетристов, на Маколея или Тьера. У него нет ни анекдотов, ни поэтических описаний, ни драматических сцен: он называет «дрянью» (*diese Lappalien*) все эти красоты или, по его выражению, «реторические цветки» (*Floskeln*) и честит именем «балагуров» (*Tändeleikrämer*) знаменитых историков, ставивших задачей себе нравиться даже тем людям, которые не читают ничего, кроме романов (*Romanenleser*). Доводя до крайности свое отвращение от прикрас, свое пренебрежение к внешней заманчивости изложения, Шлоссер, наконец, создал в себе привычку нарочно писать языком сухим и даже странным. У него часто бывает точка на середине фразы, — пусть сам читатель знает, чем надобно окончить фразу. У него есть периоды, которых не разберешь легко даже по немецкой грамматике, столь привычной к перепутанности. Наконец он нимало не стесняется, не договорив об одном предмете, заговорить о другом, потом опять возвратиться к первому и опять не докончить его; десять раз повторять одно и то же; оставлять разные части своего рассказа совершенно бессвязными по внешней форме. Такую книгу не очень приятно читать людям, привыкшим к изящному

изложению. Мы полагали, что Шлоссер не будет иметь и половины того числа читателей, какое имели «Рассказы из истории Англии», взятые нами у Маколея. Но мы считали полезным дать прежде всего общее обозрение почти всего пространства времени, к разным частям которого относились монографии, назначенные нами для следующих томов. Еще драгоценнее для нас был внутренний характер книги Шлоссера: мы не находили историка, который смотрел бы на вещи так рассудительно, как Шлоссер, который бы так заботился только об одной правде, отвергая всякое обольщение. Мы полагали, что серьезная часть публики оценит это достоинство, привязывавшее к Шлоссеру всех мыслящих людей, от которых случалось нам слышать отзывы о нем: все они в один голос говорили, что ни от кого не научились так много, как от сурового, тяжелого автора «Истории восемнадцатого века». Это мнение подтверждалось и нашим собственным опытом. Мы думали: вероятно, в той части публики, которая читает преимущественно русские книги, найдется довольно много людей, расположенных полюбить грубого старика, den groben alten Mann, как он сам себя называет.

В этом мы не ошиблись. Таких людей оказалось даже гораздо больше, чем мы ожидали. Это — хороший признак. В нем видно новое подтверждение тому, что люди серьезные составляют уже очень значительную часть в нашей публике.

Шлоссер имел больше успеха, чем на сколько мы рассчитывали. Публика поддержала нас лучше, чем мы ждали; но мы сами поступили с ней не совсем хорошо: мы были неисправны перед ней. В 1858 году вместо обещанных четырех томов мы успели издать только два, так что публика совершенно основательно поколебалась в доверии к нашим обещаниям. Теперь, когда мы, наконец, исполнили их, надобно объяснить, отчего произошла наша прежняя неисправность. Дело вот в чем: предприятие, нами задуманное, оказалось гораздо труднее, чем мы рассчитывали, приступая к нему, или правдивее говоря, мы нашли, что распоряжения, сделанные нами для исполнения труда, были неудовлетворительны. Нам пришлось работать над изданием в десять раз больше, чем мы думали. Мы рассчитывали, что нам придется почти только читать корректуры: на это достало бы у нас времени, чтобы аккуратно издавать по четыре тома в год; но исполнять дело с такою быстротою мы не могли при том размере работы над изданием, какой достался на нашу долю по неосновательности собственных наших распоряжений и ожиданий в начале дела. Из лиц, на содействие которых мы рассчитывали, разные обстоятельства помешали некоторым работать вместе с нами: один уехал, другой был завален иною работою. Мы могли бы предусмотреть эти обстоятельства и виноваты перед публикой за то, что не приняли их в соображение.

Сказав о затруднениях, замедлявших дело, надобно сказать и о том, в каком виде оно исполнялось и какое доверие могут иметь к нашему переводу те читатели, которым нет времени и случая сличить его с подлинником. Перевод верен, за это можно ручаться. По всей вероятности, встречаются в каждом томе по несколько ошибок — дело неизбежное, но ошибок этих не слишком много. Слог мы старались сохранять такой же, какой находится в подлиннике. По всей вероятности, это было нерасчетливостью. Русская публика, более привычная к французской стилистике, чем к немецкой, гораздо щекотливее немецкой публики в деле слога: то, что кажется лишь несколько шероховато немцу, кажется очень шероховато русскому. Без нарушения верности в передаче мыслей можно было бы сгладить неровности подлинника в языке перевода. Но из этого легко могло возникнуть недоверие к переводу: кому охота внимательно сличать по несколько десятков страниц, чтобы видеть, изменяются ли мысли от перемены в оборотах? А каждый на слово верит, если слышит, что перевод не совсем точен. Мы хотели скорее быть осуждаемыми за тяжеловатость языка, чем за неверность подлиннику. Итак, сколько зависело от нас, мы переводили с совершенной точностью. Но у Шлоссера встречаются места, не допускаемые русскою печатью. Где можно было сохранить смысл заменением одних слов другими, в сущности равносильными, мы следовали такому обыкновению; но были места, не поддававшиеся этой внешней переделке, требовавшие или перемены смысла, или совершенного выпуска, — в таких случаях мы предпочитали выпускать. Надобно сказать, много ли было в подлиннике страниц, подвергнувшихся внешней переделке или выпуску.

Их гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Переделки сколько-нибудь значительные ограничились почти только некоторыми параграфами литературного отдела в I, II и IV томах, а выпустить понадобилось еще меньшее число страниц. Всего выброшено нами около двух с половиною печатных листов и произведена внешняя переделка в других пяти или шести печатных листах, — пропорция очень небольшая на восемь томов, заключающих в себе до 225 печатных листов, особенно когда мы думаем о содержании книги, многие отделы которой сообщают публике первый подробный рассказ об исторических событиях, оставшихся до той поры почти совершенно чуждыми русскому изложению.

Поддержка, найденная нашим предприятием в публике, достаточна, чтобы мы могли продолжать издание «Исторической библиотеки»: теперь первые два года ее уже окупилась или почти окупилась, этого для нас уже довольно. Мы намерены продолжать издание, но не хотели бы снова быть неисправны в сроках выпуска следующих томов; потому в конце прошлого года мы повременили и теперь еще видим надобность несколько повре-

менить принятием подписки на третий год «Исторической библиотеки», отлагая объявление о ней до той поры, когда лучше прежнего обеспечим своевременный выход томов нашего издания».

< ИЗ № 7 «СОВРЕМЕННОГО» >

Воспоминания, мысли, труды и заметки Александра Смирнова.
Части 1 и 2. Москва (1859 и 1860 г.)

Странный человек г. Александр Смирнов! Напечатал такие вещи, что, кажется, сам должен был бы знать, можно ли его похвалить за представление публике столь милого подарка, а между тем еще напрашивается на «справедливый отзыв о нем». Помня его статейки по крестьянскому вопросу, написанные в доброжелательном к народу духе, мы хотели пройти молчанием, его «мысли, труды» и проч.: зачем, думали мы, доводить до сведения публики, что человек, по всей вероятности, почтенный и неглупый и, без всякого сомнения, благонамеренный, вздумал наделать себе убытка, испортив несколько десятков или сотен стоп бумаги на печатное воспроизведение разных своих рукописных тетрадок, листков и клочков, которых никак не напечатал бы в таком виде, если бы, при всех своих почтенных качествах, не подвергся какому-то удивительному припадку типографской мании? Но нет, он требует, чтобы критика непременно подвергла оценке два удивительные тома, им изданные. По его мнению, это даже очень важно. Он говорит, что занимается разработкою психологии и разных других наук и дошел до «основных мыслей, на которых должны быть построены» эти науки. Вот эти-то основные мысли он почел нужным «предварительно отдать на всеобщее обсуждение», чтобы они были проверены критикой. Что критика признает неосновательным, от того готов он отказаться, если убедится в справедливости возражений; тогда, исправив частные недостатки в своих понятиях, он примется за систематическую работу, а теперь представляет лишь отрывочные замечания, потому что легче изменить план, чем переделывать готовое здание. Сообразно тому, он целую половину двух своих томов наполнил «заметками», которые сам разделяет на тринадцать разрядов в первом томе и на четырнадцать разрядов во втором. Вот перечень этих разрядов в первом томе:

1) Общие и философские заметки; 2) философские; 3) гигиенические; 4) медицинские; 5) психологические; 6) логические; 7) грамматические; 8) эстетические; 9) теоретико-литературные; 10) историко-литературные; 11) для педагогики и воспитания; 12) политико-экономические и юридические; 13) исторические. Во втором томе есть еще разряд заметок по предметам естествознания.

В каком винегрете подаются читателю эти четырнадцать блюд, можно судить, например, по первому десятку заметок. По классификации самого автора эти десять заметок распределяются следующим образом:

Первая заметка — физиологическая; вторая — общая и философская; третья — грамматическая; четвертая — также; пятая — также; шестая — психологическая и вместе с тем грамматическая; седьмая — уже просто психологическая; восьмая — логическая; девятой мы не отыскали ни в одном разряде, верно уж она совершенно особенного свойства, а десятая заметка — теоретико-литературная.

Порядок не дурен. Положим, автор еще не построил системы, но ведь все-таки не мешало бы привести ему свои мысли в некоторый порядок. Впрочем, что толковать о таких пустяках, как порядок или беспорядок в мыслях! Посмотрим, каковы эти мысли. Выпишем целиком, от первого слова до последнего, несколько заметок, которые предлагаются автором на обсуждение основательной критики и заключают в себе, по его мнению, основные идеи для построения психологии и еще нескольких наук вприбавок. Сначала выберем несколько таких заметок, которые покороче. Вот, например, четвертая:

4

Выражения, заменяющие собою части речи: н. п., *ваша милость*, *ваше здоровье*, *ваше превосходительство* и т. д., заменяющие местоимения личные 2-го лица, *в отношении*, *вследствие*, *по причине* и т. д., употребляемые в смысле предлогов, и пр., должны быть рассматриваемы в синтаксисе — в тех отношениях, которые они представляют, то есть в определительных или дополнительных.

Что ж? это очень хорошо. Слова «ваша милость» в синтаксисе должны считаться личным местоимением второго лица, — нет, не то, они должны рассматриваться в синтаксисе «в тех отношениях, которые они представляют, то есть в определительных или дополнительных». Правда, основательная критика ничего не может возразить. Теперь мы знаем, что такое «ваша милость»: но что такое сама критика?

10

Критика, по участию намеренности, воли, противоположна *истории* и *теории* *, в которых ум действует невольно, без предварительного намерения приложить свое историческое и теоретическое знание к оценке данного предмета.

Недурно. В теории ум действует невольно, а в критике с волею. Правда. Но не всегда. Вот, например, хоть бы теперь: наш ум действует в критике совершенно невольно: г. Александр Смирнов принудил его заниматься разбором книги, которой добровольно мы ни разбирать, ни читать не стали бы. Читаем далее,

* Курсив везде принадлежит самому автору.

Сознание и воля. В сознании: чувство и ум. В воле: желание, доходящее до страсти, и хотение, спокойно стремящееся к выполнению идеи.

Жаль, недостает в этой заметке глаголов; с ними была бы она яснее, чем теперь. Впрочем, недостаток ясности вознаграждается сжатостью. Анализ воли и сознания, хотения и желания очень недурен, но в следующей заметке еще удачнее анализируется безусловное:

63

Безусловное.

В уме — разумное убеждение.

В чувстве — религиозное чувство.

В воле — чистая нравственность.

Теперь мы знаем, что такое критика и теория, страсть и хотение, сознание и безусловное... Любопытно было бы узнать, что такое жизнь? Вот что:

77

Первая половина развивающейся жизни есть развитие центростремительной силы и страдательной воли, которая стремится к ее удовлетворению; вторая половина есть развитие деятельной воли, в которой уже установившаяся личность центробежно проявляет себя.

Прекрасно... Как же теперь действовать на человека в начале первой половины жизни, когда развивается центростремительная сила, как воспитывать человека, в чем главнейшая задача воспитания?

88

Важнейшее в воспитании — вложить в ребенка первоначальные добрые следы или расположения (Spuren oder Angelegtheiten у Бенеке), которые уже постоянно и будут притекающими элементами (hinzufliessende Elemente), усиливающими доброе и ослабляющими злое.

Великая истина! Но едва ли менее важна следующая мысль:

122

Как художник из элементов действительности по своей идее образует одно художественное целое: так душа из элементов, воспринимаемых ею из внешнего мира, по врожденной ей идее развивается в одно органическое целое.

Возвратимся, однакоже, к центростремительной половине жизни. В самом начале ее — младенчество.

Наблюдения над младенцем. — У младенца грыжа. Боль заставляет его кричать и метаться. У младенца цвет. Один глаз его видит, другому цвет мешает глядеть. Младенец рвется и плачет, силясь открыть закрывшийся глаз. Он уже начинает чувствовать удовольствие в свете, и мрак в то время, когда он не спит, становится для него нестерпимым.

(17 декабря.)

Теперь будем уж выписывать без всяких замечаний.

Наслаждение заключается в сознании: нервами в теле, сердцем и умом в душе.

Самый строгий положительный *рассудок* не исключает самого глубокого, самого теплого *чувства*; исключает только порывы, увлечения, страсть.

Что *пищеварение* есть *телесный орган эгоизма*, видно из того, что собака, в отсутствии своего господина, тоскуя о нем и с самоотвержением забывая себя, отвергает пищу.

Судьба — индивидуальная организация; *судьба* — назначение рода; вообще *судьба* — идея, которой служителем, исполнителем является всякое органическое существо. Все прочее — случай, стечение обстоятельств, — внешняя *судьба*.

Совершенство органических сил, получивших высшее, духовное развитие и определившихся в известном содержании, переработанном из материала окружающего мира, составляет *душу* человека; идея, лежащая в основе человеческого организма, есть *дух* его.

Ум есть желудок души: он переваривает впечатления внешнего мира. *Чувство* — акт уподобления: оно уподобляет пищу, принятую умом, организму души человеческой. *Воля* — акт деторождения: она порождает новые нравственные существа — поступки, действия и другие произведения душевной деятельности, возвращая в новом виде внешнему миру то, что ум из него принял.

В экономическом быту переход предметов роскоши в предметы всеобщего употребления совершается по тому же закону, по которому в языке фигурные выражения переходят в простые. Идея одна и та же — красота и потребность.

Моменты времени:

1) Настоящее — точка.

2) Прошедшее и будущее — линия.

а) Прошедшее — линия конечная, имеющая неизвестное начало и известный конец (точку настоящего).

б) Будущее — линия бесконечная, имеющая известное начало (точку настоящего), но неизвестный конец, который простирается в беспредельность.

Г. Александр Смирнов бережно сохранил и человеколюбиво напечатал все эти и множество других подобных истин. Жаль одного: зачем он не сохранил и не напечатал за номерами те изречения, которые, конечно, писал иногда на клочках бумаги? Вышло бы очень недурно:

415. Проба пера.

Милостивый государь.

617. Проба пера. Хорошее перо.

Милостивейший государь.

824. Александр.

Александр Смирнов, Смирнов.

А. Смирнов. Милостивейший. Проба пера.

Советуем ему заняться собранием этих лоскутков, — у него тогда составитя третий том «заметок».

Но не все «заметки» так коротки. Есть и подлиннее, строк в десять, в полстраницы, даже в целую страницу, иногда и длиннее. Из десятистрочных нам очень понравилась следующая:

Кровь есть жизненная жидкость, принимающая участие во всякой органической деятельности. Во время пищеварения она приливает к желудку, при умственных занятиях к мозгу. Геморроидальный напор крови к низу облегчается иногда принятием пищи или углублением в книгу в спокойном положении вниз лицом: кровь отливает к желудку и к мозгу. Смех облегчает трудное испускание мочи: кровь отливает от мочевого пузыря к периферии тела. Отсюда известная поговорка о неумеренном смехе. Так врач может иногда действовать на телесный организм не одними вещественными средствами.

(15 августа.)

Или не хотите ли полюбопытствовать, каковы те заметки, которые подлиннее? Вот вам:

Едва ли можно допустить ту чисто материальную точку зрения, с которой мысли представляются таким же произведением мозга, как желчь есть произведение печени, моча — произведение почек и т. д. Нет сомнения, что растительные отправления беспрестанно возбуждают в нас чувства и мысли: н. п., известное состояние печени может возбудить известного рода мысли. Но из того еще не следует, чтобы мысли были произведением печени. Печень воздействует на нервы, а сообразно настроению нервов рождаются и мысли. Головной мозг служит таким же внешним возбудителем мыслящей силы, каким для него служат растительные отправления. Да и самые нервы имеют неодинаково близкое отношение к мышлению: узловая система, спинной мозг не то же, что головной, малый мозг не то же, что большие полушария. Мозг, конечно, производит какой-нибудь материальный продукт, подобный желчи, моче и т. д., именно нервную материю, столь же необходимую для телесной жизни, сколько и для душевной. Как половой член выполняет два назначения — испускает мочу и совершает половые отправления, так и мозг отправляет свою должность в системе телесных отведений и служит органом-возбудителем мыслящей силы. Что же это за мыслящая сила, непосредственно рождающая мысли? Она не врождена человеку, как не врождена человеку печень, а predeterminedена в идее и развивается органически из принимаемого оплодотворенным семенем извне для органической переработки материала: телесные органы *развиваются по predeterminedенной идее души в семени из пищи: душевные силы по predeterminedенной идее души в условиях телесной организации* (не в них самих, а условиях их) *из внешних впечатлений*. Отсюда в вопросе о происхождении душевных сил едва ли мы не придем к положению Бенеке или, по крайней мере, к положению, близкому к его мнению. Действительно, что обыкновенно называют душевной силой — умом, чувством, волей, то не есть действительная душевная сила, а только идея ее, только известное направление душевной деятельности. Идея душевных сил или направления душевной деятельности врождена человеку, или, что одно и то же, predeterminedены ему; но действительные душевные силы образуются и развиваются в течение жизни на основании этих идей из внешних впечатлений в условиях телесной организации. Семя растительное и животное служит таким же органом-возбудителем, по которому окружающая материя слагается в организм, как условия телесной организации, и преимущественно нервы, и преимущественно головной мозг служат органом-возбудителем для переработки внешних впечатлений в систему душевных сил и их произведения — чувства, мысли, желания. Каким образом внешние впечатления обрабатываются в душевные силы, это требует особого, подробного, основательного исследования.

(4 июля.)

Мало вам этого? Вот вам еще заметка, уже из самых длинных:

Физиологические полярные противоположности. — Половые отправления принадлежат к растительной жизни организма. Таким образом две главные противоположности в телесном организме: жизнь растительная и жизнь животная. Растительная жизнь есть: 1) жизнь организма самого по себе и 2) жизнь организма для поддержания рода. Процессы той и другой растительной жизни: 1) питание — образование тканей, соков, семени, 2) выделение кала, мочи, пота, семени при половом сообщении. Питание в жизни организма самого по себе и питание в жизни организма по отношению к роду, или образование семени — суть полярные противоположности питания в ра-

стительной жизни вообще. Люди жирные вовсе не отличаются особенною плодovitостью, напротив, часто бывают бесплодны; все же плодovитые и страстные люди бывают худощавы. Также и выделение калом, мочою, потом и выделение семени — органические противоположности в выделении в растительной жизни вообще. Оттого слабине, испускание мочи и пот умеряют похотливость, уменьшая количество семени, которое при этом обращается уже на питание организма самого по себе. (Отсюда практические гигиенические и медицинские применения: 1) гигиеническое — умеренность в половом сообщении и своевременное непременноe сообщение, поддержка правильного отделения кала и мочи, движение для испарины: неудовлетворенная похоть без всяких медицинских средств сменяется усиленным отделением кала, мочи и пота; 2) медицинское — если похотливость сильна до вреда и истощения организма, употребляют слабительные, мочегонные и потогонные средства). И наоборот: истечение семени умеряет отделение кала, мочи и пота. (Гигиеническое правило: то и другое отделение должны быть в согласии и содействовать к здоровью организма, не преобладая слишком друг над другом.) Жизнь животную образуют нервы и мышцы — две полярные противоположности: нервы — орган внутренней, мышцы — орган внешней деятельности. Наконец кости, кажется, составляют полярную противоположность как растительной, так и животной жизни вместе; и именно это — минералогическая или так называемая неорганическая (хотя название это неправильно: в мире нет ничего неорганического) часть организма. Кости в растительной жизни служат для прикрепления растительных тканей и охранения нервной (мозговой) материи, в животной — для движения и действия, управляемых мышцами.

Таким образом физиология исследует:

I. Организацию тела в полном и совершенном его развитии или, лучше сказать, на какой бы степени, в каком бы периоде развития он ни находился. (От зачатия до смерти организации одна и та же, только в различных периодах жизни с большим или меньшим развитием, с большим или меньшим преобладанием одних сторон организма над другими.)

A. Жизнь растительно-животная.

A. Жизнь растительная.

1) Жизнь организма самого по себе.

1) Питание.

2) Отделения: калом, мочою, потом, выдыханием.

2) Жизнь организма для поддержания рода.

1) Образование семени.

2) Половое отправление.

B. Жизнь животная.

1) Нервы.

2) Мышцы.

B. Остов (остеология).

II. Развитие организма от зачатия до смерти.

B. Из сделанных нами для образца гигиенических и медицинских применений видно, как плодотворно для практической науки открытие закона полярных противоположностей.

Но милее всего в целых двух томах сочинений г. Александра Смирнова следующая заметка:

Известно, что животные не страдают гемороем. Это потому, что они ходят на четвереньках. Геморой — привилегия гордого человека, возносящего голову к небу. Но я видел одну собачку, сильно страдавшую геморoidalными припадками. Собачка эта принадлежала комедианту, у которо-

го она беспрестанно ходила и плясала на задних лапах. Ясно, следовательно, что положение на четвереньках есть средство, противодействующее геморюю. Отсюда легкое движение на четвереньках должно быть введено в число гимнастических упражнений для противодействия и предупреждения геморюя.

(19 февраля.)

Г. Смирнов хочет слышать суждение о своих «Заметках, трудах» и пр., — мы рады были бы сделать отзыв благоприятный, но читатель видит, что мы можем сказать одно: г. Смирнов сделал себя смешным; ему теперь не остается другого средства поправить дело, как скупить все издание своей книги и сжечь его.

Из Украины. Сказки и повести Г. П. Данилевского. Три части. Спб. 1860.

Не понимаем, что за радость была г. Данилевскому печатать собрание своих произведений. Похвалы им ожидать он не должен ни от кого: это следовало знать ему. Насмешки — вот единственные плоды, которые будут принесены ему тремя частями его «Сказок и повестей»! Неужели и на этот раз опыт останется напрасным для него? Неужели он не перестанет писать, печатать, собирать напечатанное и перепечатывать особыми книжками? Должно быть, не перестанет, — если бы мог он стать благоразумнее, давно стал бы: ведь уроков он получил уже не мало. Жаль нам г. Г. Данилевского, а пособить ему никто не в силах¹.

<ИЗ № 8 «СОВРЕМЕННОГО»>

Новейшая история, сочинение ординарного профессора д-ра Ф. Лоренца. Санкт-Петербург. 1860.

Книга почтенного профессора Лоренца¹ может служить убедительнейшим доказательством несправедливости мнения, будто бы знакомство с событиями новейшей западной истории вредно действует на образ мыслей. Г. Лоренц основательно познакомился с новейшею европейскою историею; он, как видно, читал многие из лучших сочинений, относящихся к ней, и вообще нельзя его упрекнуть в недостатке фактических знаний по предмету его книги. А между тем образ мыслей его остался совершенно испорчен, до того чист, что не всегда можно встретить такие здравые суждения даже у людей, не слыжавших ни о чем, что делалось в Европе после взятия Парижа союзниками. Профессор Лоренц рассуждает обо всем так, что, мы уверены, ни один из читателей его книги не будет испорчен ею в образе своих мыслей.

Например, он начинает свой рассказ с того, что устройство, полученное Германиею по низвержении Наполеона, не удовлетворило ожиданиям немцев, мечтавших о восстановлении Германской

империи. «Таким образом (слова профессора Лоренца) в умах юношества политические идеи средних веков смешались с революционными идеями новейшего времени и в соединении с религиозною мечтательностью произвели то смутное состояние общества, от которого, кроме зла и несчастья, ничего нельзя было ожидать». Прочитав такие слова, не убеждаетесь ли вы, что системе Меттерниха была спасительна для общества, которое как вы сейчас видели, не могло, кроме зла и несчастья, ничего ожидать от людей, наказанных Меттернихом? Далее г. Лоренц сообщает нам подробности, подтверждающие общий его отзыв о стремлениях немецкой молодежи после 1815 года. Идеи этой молодежи «диаметрально противоречили существующему порядку общества» и «угрожали ему опасностями». Потом профессор Лоренц перечисляет «преступления», совершенные немецкой молодежью. Вы видите, что необходимо было усмирить эту злонамеренную молодежь. Переходя от Германии к Франции, профессор Лоренц сообщает нам, что, возвратившись во Францию после Ватерлооского сражения, Людовик XVIII занял престол с твердым намерением «простить своим врагам и не мстить никому». Профессор Лоренц свидетельствует, что Людовик XVIII отличался «великодушием». Противники реставрации достойны поэтому самого сильного осуждения, и автор выражается о них таким образом: «в лице Лафайета, избранного в члены палаты депутатов, появилось снова на сцену старое пугало революции». При министерстве Деказа были сделаны некоторые уступки общественному мнению, и профессор Лоренц говорит о них следующее: «роялисты не без основания жаловались, что Деказ своими мерами погубит монархию». Когда оппозиция выбрала депутатом Грегуара, бывшего некогда членом конвента, то «палата, чувствуя всю непристойность такого выбора, удалила из среды своей Грегуара»². Этого довольно, чтобы показать, как сильно говорит профессор Лоренц о гибельности либерализма в Германии и во Франции. Столь же сильно выражается он о нем, излагая события испанской истории. Вот его подлинные слова:

Но в то время, как в Германии и во Франции реакция остановила движение революционного духа, он появился в Испании, и в самом страшном и отвратительном виде, в форме солдатской революции³. Испания, доказавшая свою верность природному государю героическим сопротивлением иноземному властителю, не могла выйти из борьбы с французской революцией, не разрывшись ее правилами.

Неаполитанский переворот 1820 года⁴ подвергается не менее справедливому осуждению:

Вообще вся неаполитанская революция как по своему началу, так и по дальнейшему ходу, является предприятием легкомысленным и безумным: это скорее что-то вроде святочной шутки, чем серьезный политический акт. Чтобы убедиться в справедливости этого приговора, стоит только вспомнить тогдашние проделки в Неаполе.

Февральскую революцию он называет «постыдным низвержением престола толпою черни»; мартовский переворот 1848 года в Берлине был произведен, по справедливому выражению профессора Лоренца, «крамольниками». Крамольники всех стран и времен описываются у него производящими злодейства или, по крайней мере, «величайшие беспорядки». В пользу крамольников, по его выражению, расположена бывала только «сволочь» — вот, например, его слова о том, как восстановлен был порядок в Берлине в ноябре 1848 года:

Берлин сделался главным притоном демократов, которые нашли безопасность под защитою вооруженной черни. Демократический конгресс осадил полками черни учредительное собрание. Эта постыдная сцена возмутила всех, которые еще не совсем утратили чувство чести и достоинства. Король приказал генералу Врангелю вступить в Берлин с многочисленным войском. Сволочь, которая до сих пор господствовала в столице, спряталась в своих закоулках, тогда как вожди ее спаслись бегством от заслуженного наказания.

Г. Лоренц обнаруживает, что в 1848 году и в Италии, и в Венгрии беспорядки произведены были также чернью и сволочью. Эти крамольники неистовствовали там, где не было войск, и везде разбегались при первом появлении войск. Так было и в «старом революционном вулкане», то есть во Франции, где мятежники скоро были укрощены принцем Луи-Наполеоном, которого в благодарность за то Франция провозгласила императором.

Он действовал с большим благоразумием, и французы ранее, чем ожидать можно было, отвыкли от волнения, производимого свободою журналистики, и от приятного препровождения времени, доставляемого прениями трибуны.

Франция могла утешиться в потере своего конституционного правления при взгляде на Пиренейский полуостров, где конституция была источником бесконечных беспорядков и борьбы партий. Извне — то влияние Франции, то Англии, внутри же — борьба между умеренною и иступленною партиями не давали покоя ни Испании, ни Португалии и мешали в них развитию народной и государственной деятельности.

Кажется, этих выписок довольно, чтобы убедить в совершенной безвредности занятий новейшею историею людей самых предрассудочных против предмета, излагаемого профессором Лоренцом.

<ИЗ № 9 «СОВРЕМЕННОГО»>

Молилари. Курс Политической экономии. Часть I. Редакция перевода Я. А. Ростовцева. Издание Николая Тиблена. С. Петербург. 1860.

Молилари¹ знаменит в Западной Европе, но еще знаменитее в России. Какими-то неисповедимыми судьбами он явился просвещать нас. Центром, из которого должно было излиться экономическое просвещение на Россию, воля рока избрала Москву, но путь в Москву лежал бельгийскому гению через Петербург, и

в Северной Пальмире ожидала знаменитого гостя первая орация. Наши петербургские экономисты (читатель, может быть, не знает, что и у нас есть знаменитые экономисты; но мы уверяем его, что они есть) пришли в радостное волнение и устроили торжественный обед, на котором гость сиял, как свеча, а наши доморощенные знаменитости экономической науки увивались около этой свечи, как мотыльки, несмотря на свои почтенные лета и фигуры. Молинали держал себя перед своими петербургскими поклонниками с приветливостью и удостоивал выражать свое удивление великим успехам русского просвещения; благосклонно обещался он сообщить всей Европе, что у нас есть люди, не лишенные некоторой образованности; а люди, которых находил он не лишенными некоторой образованности, передавали нам по секрету, что он произвел на них впечатление фата и отчасти шарлатана. Вероятно, отзыв этот несправедлив; вероятно, Молинали — великий ученый, звезда первой величины в науке, — иначе, как было бы объяснить поклонение со стороны наших знаменитых экономистов, которые, как мы наверно знаем, собираются даже издавать свои труды на французском языке по примеру известного во Франции ученого г. Наркиса Атрешкова²? Успех публичных лекций Молинали в Москве не совсем соответствовал блистательному началу его путешествия по России. Возвращаясь из Москвы, он прочел и петербургскому обществу несколько лекций в той зале Пассажа, которая потрясалась иступленными аплодисментами стихотворениям гг. Майкова и Бенедиктова. Но, несмотря на такую расположенность залы к восторгам³, Молинали не произвел и тут эффекта, — мы слышали, будто он обвинял за то [социалистов], устроивших против него заговор.

Впрочем, путешествие г. Молинали по России, обед в честь его, его лекции в Москве и петербургском Пассаже, — все это вещи, не имеющие никакого отношения к его книге. О книге надобно сказать, что переведена она хорошо и внешность издания опрятна. Кому угодно знать, каково достоинство самой книги, удостоившейся такого перевода и издания, тот может узнать об этом из предисловия, в котором автор объясняется с полною откровенностью. Он говорит, что могут спросить, зачем издается новый курс политической экономии после книг, написанных великими людьми политической экономии, и в особенности после «великолепного политико-экономического словаря Гильомена»? «Мне казалось, — отвечает Молинали, — что все изданные до ныне политико-экономические сочинения заключают в себе один весьма важный пробел». Любопытно узнать, какой же это «один пробел»? Весьма важных пробелов в сочинениях, исчисляемых Молинали, столько, что и сосчитать их трудно. «Я говорю, — продолжает Молинали, — об отсутствии достаточно ясного исследования того общего закона, который водворяет порядок в экономическом мире, устанавливая справедливое и необходимое равно-

весие как между различными отраслями производства, так и в вознаграждении производительных деятелей». Ну, это уж чуть ли не напрасно. Если память нас не обманывает, Бастиа уже написал свои «*Harmonies économiqnes*» * для восполнения этого «весьма важного пробела», который, впрочем, был восполнен разными французскими экономистами задолго и до книги Бастиа. Если только в этом дело, не стоило Молинару писать свой курс: у Бастиа уже доказано, что бедным не на что жаловаться, что каждый работник получает надлежащее вознаграждение, что если и есть на свете люди, получающие меньше, чем им следовало бы, то эти люди не какие-нибудь ткачи, швеи, земледельческие батраки, — нет, а капиталисты, рентьеры, фабриканты, банкиры и другие обиженные судьбою несчастливцы, возбуждающие зависть в неразумных чернорабочих. Бастиа доказал уже, что если сосчитать, сколько жертв приносится для общего блага и сколько благодеяний обществу оказывается Ротшильдом, Миресом † и сподвижниками их, то надобно беднякам благословлять судьбу свою и воздвигать памятники заживо этим своим благодетелям. Усердие Молинару несколько запоздало.

Но, впрочем, все равно, цель его все-таки прекрасна. Послушаем его сладкие слова. Милостиво говорит он, что не ставит этого пробела в вину своим учителям. У них была иная задача; они боролись против привилегий, корпораций, каст, монополий и исполняли свое дело с удивительным успехом, но, к сожалению, по словам Молинару, их система «встретила в наше время противников среди тех самых классов, во имя интересов которых» они действовали. Любопытно узнать, в пользу каких же классов действовали Сэ, Мак-Коллох, Росси, Мишель Шевалье, Фредерик Бастиа и Жозеф Гарнье **? Мы полагали, что они усерднее всего проповедывали в пользу банкиров и негоциантов, а в особенности негоциантов, ведущих заграничную торговлю; сколько нам известно, они не встречали противников между людьми этих классов. Но, видите ли, наше недоразумение произошло от незнания. «Между рабочими массами, — объясняет нам Молинару, — возникла антилиберальная и неорегламентарная реакция, известная под общим именем социализма». Ну, вот дело и объяснилось. Сколько неправильных понятий исправлено в нас этими немногими словами! Мы видим теперь, что Росси и Шевалье с братиею трудились в пользу рабочих классов, — какую прекрасную вещь они делали! — жаль только одного, что этой вещи никак нельзя заметить по их сочинениям, в которых интересы рабочих сословий постоянно забываются, кроме тех случаев, когда сталкиваются с интересами капиталистов, а в этих случаях постоянно приносятся в жертву интересам капиталистов. Мы видим также,

* «Экономические гармонии». — *Ред.*

** Все это — представители вульгарной политической экономии. — *Ред.*

что социализм антилиберален; если так, мы не понимаем, почему же он не в милости у консерваторов. Судя по словам приверженцев привилегий и монополий, социализм до крайности либерален; так либерален, что перед социалистами Мишель Шевалье с братьями кажутся вовсе не либеральными людьми. Мы слышали, будто социалисты провозглашают полнейшую децентрализацию, [мечтают сделать каждый город, каждую деревню маленькой совершенно независимой республикой, заменить нынешние государства федерациями этих республик, мечтают об уничтожении всякой внешней власти над каждым собранием людей, над каждым отдельным человеком. Мы слышали, будто они отвергают все похожее на полицию, отвергают все нынешние уголовные законы], — может быть, это мечты безумные, но уж никак нельзя сказать, что это тенденции антилиберальные. Мало того, что социализм оказывается антилиберальным, он оказывается системой «неорегламентарною», то есть, в переводе с греко-латинского, он хочет восстановить регламентацию промышленности, против которой боролся Адам Смит. Хорошо, что мы узнали это от Молинали, а то мы слышали совершенно противное [: мы представляли себе, будто бы основное стремление социализма состоит в том, чтобы извлечь массу работников от всякого стеснения в экономическом отношении; чтобы дать каждому возможность заниматься именно тем, чем он сам хочет, и так, как он сам хочет]. Надобно благодарить Молинали, что он рассеял эти наши заблуждения. Но мы теперь не можем сообразить, как же он станет писать пятую часть своего курса, которая «будет содержать разбор ложных экономических и социальных теорий». Разве сам он выдумает эти ложные теории; а иначе, как же будет он разбирать мысли писателей, которых не умеет понимать? Впрочем, незнание, неспособность понять, предубежденность, пристрастие — все это слишком слабые задержки усердию; а Молинали горит усердием восполнить «один весьма важный пробел», проще сказать — он собирается «поразить социализм насмерть». Послушаем его самого. «Появление социализма, — говорит Молинали, — возложило новую обязанность на экономистов, —

основателям науки предстояла борьба только с теми, которые пользовались злоупотреблениями старой системы и, в эгоистических видах, требовали сохранения своих привилегий; нам же предстоит теперь бороться не только с многочисленными наследниками этих привилегий, но и с социалистами, проклинающими свободу промышленности, взывая к интересам масс и требуя «организации труда».

Первым экономистам достаточно было доказать весь вред, причиняемый общему интересу ограничениями и монополиями старой системы, всю неспособность предрассудков и софизмов, которыми старались оправдывать их сохранение. Одним словом, им достаточно было «разрушить» старую регламентарную систему. Теперь же, когда утверждают, что опыт промышленной свободы решительно не удался, что общество, едва освобожденное от рабства, впало в анархию, — этого недостаточно. Нужно оправдать свободу от нареканий, которым она подвергается. Социалисты считают ее анархическою; они

отвергают существование всякого регулирующего начала в производстве, предоставленном самому себе. Следует доказать, что это регулирующее начало существует и что анархия, которую социалисты описывают такими мрачными красками, происходит от несоблюдения естественных условий порядка.

Вот новая задача, возложенная обстоятельствами на экономистов, — задача, которую я, по мере сил, пытался решить. Я старался доказать, что экономический мир, в котором социалисты не замечают никакого регулирующего начала, управляется законом равновесия, действующим непрерывно и с неодолимою силою для сохранения необходимой соразмерности между различными отраслями и различными деятелями производства. Я пытался доказать, что под влиянием этого закона *порядок* в экономическом мире водворяется сам собой, точно так же, как вследствие закона тяготения он устанавливается в мире физическом.

Вот главная цель издаваемого мною ныне труда. Не знаю, насколько я достиг ее, но я буду, во всяком случае, считать свою задачу решенною, если мне удалось указать путь друзьям науки.

И действительно, как не желать, чтобы доказано было очевидным для всех образом, что производство, предоставленное самому себе, не обречено неизбежной анархии; что в самом себе оно заключает в высшей степени могущественное регулирующее начало? Если бы это было вполне доказано и стало осознательной для всех истиной, кто бы осмелился тогда предлагать искусственную организацию общества? Социализм не был ли бы поражен насмерть?

Вот это мы называем говорить откровенно. Вы думаете, что Молилари писал с целью исследовать истину, — нет, его желание было гораздо выше [: что истина, что ложь — это все пустяки, а главная надобность науки в том, чтобы поразить социализм насмерть]. В начале нынешнего года, излагая по поводу книги г. Горлова общий свой взгляд на политическую экономию, мы говорили, что во Франции после Сэ она получила совершенно новое направление, которого была чужда, когда излагалась Адамом Смитом; что это новое направление, при котором писатели имеют в виду не исследование истины, а только отстаивание во что бы то ни стало известных обычаев и экономических учреждений, приданое ей боязнию перед социализмом. Если кому тогдашний отзыв наш о современных французских экономистах показался слишком суров, то вот г. Молилари откровенно сообщает нам, что его цель именно такова, как мы говорили. Очень может быть, что Молилари с братиею совершенно правы в своем желании поразить насмерть ненавистное им учение; но жаль, что они не понимают одного обстоятельства: если известная система, в какой бы то ни было науке, вызвала против себя какую-нибудь новую теорию, которой не имели в виду основатели систем, то хотя бы новая теория и была неосновательной, все-таки прежнюю систему никак уже нельзя опровергнуть ее, и для успеха в новой борьбе надобно бросить старую точку зрения, несостоятельность которой доказывается самым появлением новой теории. Положим, например, что Нибур был неправ, когда воссоздавал латинский эпос из рассказов Тита Ливия; но опровергнуть Нибура Ролленом нет никакой возможности: ведь Нибур именно из того и возник, что

Роллен неудовлетворителен. Так и социалисты решительно не могут быть опровергнуты на основании Сэ или Адама Смита. Если вы хотите победить новых противников, то запаситесь новым оружием; меч, которым Адам Смит рубил меркантильную систему, не годится против ваших врагов.

Но французские экономисты не понимают этого. Если бы они понимали, они тогда и не были бы тем, что разумеется во Франции под словом «экономист», — не были бы людьми отсталыми, повторяющими теперь то, что уместно было говорить Адаму Смиту в прошлом веке, да и это повторяющими очень плохо. Возьмем в пример хотя Молилари, стремящегося «на смерть поразить социализм». Не спорим, что Сен-Симон, Фурье, Прудон — люди заблуждающиеся или злонамеренные; но все согласны в том, что они люди очень замечательного ума, кроме природного гения, у них есть боевые средства, очень сильные: Сен-Симон пережил и перечувствовал сам все, что может испытывать человек; Фурье чрезвычайно глубоко изучил человеческое сердце; Прудон знаком с немецкою философией и обладает страшной начитанностью. Посмотрим же, с каким запасом знаний и умственных сил идет, например, Молилари поражать таких людей.

Начинает он, по обыкновенной рутине, выпискою греческих слов *oicos* и *potos*, из которых составилось слово «экономия», и объяснением, что политика тоже происходит от греческого слова *polis*, и в подтверждение тому ссылается на Жозефа Гарнье, вроде того, как один русский ученый подтверждал цитатою из Карамзина свое мнение, что Федор Иванович был сын Ивана Васильевича Грозного. Бедняжка воображает, что отлично щегольнул ученостью. Этим одним уже дается мера его учености. А хотите знать его сообразительность? Для этого достаточно прочесть сделанное им определение политической экономии. По обыкновенной рутине приводит он несколько разных определений, данных прежними учеными, и скромно заключает этот перечень новым определением своего домашнего изделия. Вот оно:

Политическая экономия есть наука, описывающая организацию общества, — она есть описание общественного механизма, короче — анатомия и физиология общества.

Поискали мы, нет ли какого-нибудь ограничения этому определению. Нет. Молилари твердит себе: «Анатомия и физиология общества; описывает организацию общества» — и совершенно доволен. Ах, бедняжка, бедняжка, а [туда же лезет] поражать социализм! Не сообразил, он, бедняжка, что в его определение целиком влезают, кроме политической экономии, все общественные науки от статистики до уголовного права, от истории до дипломатии. Не догадался он, что прихватил своим определением всю юриспруденцию и администрацию, этнографию, историю цивилизации и все знания, относящиеся к общественной жизни. Не

сообразил, что непременно нужно было бы вставить в определение слова или «материальное благосостояние», или «богатство», или что-нибудь подобное. С такою-то сообразительностью отправляется человек ратовать против ложных учений!

Так превосходно определив область политической экономии, Молилари, разумеется, доказывает, что она очень полезна. Откуда он так хорошо мог узнать правила для составления ученых книг, преподаваемые покойным Кошанским? Или уж не написал ли он свой курс по возвращении из Москвы? Но едва ли... времени с тех пор прошло слишком мало. По риторике Кошанского, за определением науки должно следовать объяснение пользы ее; так и делает Молилари. Доказав полезность политической экономии не хуже, чем покойный Кайданов доказывал полезность всеобщей истории⁵, Молилари продолжает: «Из всего сказанного нами казалось бы, что легко видеть всю пользу изучения политической экономии; однакоже, к стыду нашего времени, эта польза была не раз оспариваема». Скажите, пожалуйста, кем же это? — Ей «были нанесены страшные удары. Несколько лет тому назад знаменитый оратор Донозо Кортес⁶ с высоты испанской трибуны сделал яростное нападение на политическую экономию». Ну, отлегло у нас от души; а то мы совсем было перепугались. Удары, наносимые Донозо Кортесом, едва ли следует называть очень страшными; ведь он жалеет об уничтожении инквизиции, называет герцога Альбу благодетелем рода человеческого, отвергает Коперникову систему, хочет отдать всю Европу, даже протестантскую, под безусловную власть папы и в духовных, и в светских делах, — мало ли на что он нападает: и на прививание оспы, и на громоотводы, и на пароходство... Охота же обращать внимание на такого человека. Если уж и говорить о нем, то можно только выставлять его или в смешном, или в отвратительном виде; но Молилари начинает почтительно рассуждать с ним и робко доказывать, что политическая экономия может быть соглашена с мнениями, которых держится Донозо Кортес. Донозо Кортеса мы оставим в стороне и послушаем, что говорит Молилари о политической экономии в религиозном, нравственном и политическом отношении. Эти страницы составляют очень замечательное исключение в книге Молилари, которая вся состоит из набора общих мест, между тем как тут он возвышается далеко над уровнем обыкновенных ученых и превосходит даже своих учителей. Некоторые говорили, по словам Молилари, что политическая экономия ведет к неверию и к стремлению пересоздавать существующие учреждения. Молилари превосходно доказывает, что это несправедливо.

Политическая экономия является, напротив, наукою существенно религиозною, потому что она, может быть, более, чем всякая другая, дает самое высокое понятие о великом творце вселенной.

Что сделали экономисты, учения которых во имя религии отвергаются некоторыми предубежденными умами? Они старались доказать, что прови-

дение не бросило человечество на волю слепого случая. Они старались доказать, что общество имеет свои, богом установленные законы, законы гармонические, водворяющие в нем справедливость, точно так же, как законы тяготения водворяют порядок в мире физическом.

Теперь, спрашиваю я, не более ли в этом законе нравственного, религиозного и истинно христианского? Не лучше ли дает он нам понятие о провидении? Не заставляет ли он нас еще более полюбить его? Если изучение творений Кеплера, Ньютона возвышает в глазах наших божественное могущество, то изучение гармонических законов общественной экономии в книгах Смитов, Мальтусов, Рикардо, Сеев или, что еще лучше, в жизни самого общества не должно ли нам дать более высокое понятие о правосудии и благодати творца вселенной?

Вот каковы с религиозной точки зрения результаты изучения политической экономии! Вот как приводит она к неверию!

Политическую экономию можно еще рассматривать как сильное орудие для сохранения общественного устройства.

Преобразовывать общественные учреждения! — продолжает Молилари: — экономисты никак не отважатся мечтать об этом, потому что в мире и так все устроено гармоническим образом, все имеет превосходную организацию. Заменяет существующую организацию какой-нибудь другой, — об этом могут думать только люди вроде Фурье и Прудона, считающие себя необыкновенными гениями. Прудон, например,

по изобретении своего нового рецепта общественной организации, кричал во всеуслышание, что если земля до сих пор и вращалась с запада на восток, то он сумеет заставить ее вращаться с востока на запад.

Вот до какой степени доходит исступление преобразователей общества. Удовищная гордость до того овладела этими, иногда столь замечательными умами, что сделала их безобразными и отвратительными. Скажут: да это сумасшедшие! Согласен.

Сам Молилари, как видно, не считает себя человеком необыкновенного ума. Он не умеет даже отличать метафорических выражений от слов, употребляемых в прямом смысле, и, кажется, воображает, что Прудон намерен изменить направление суточного движения земли. Отчего же, однако, продолжает Молилари, это безумие заразительно? Заразительно оно потому, что «совпадает с заблуждением толпы». Вот это новость! Толпу часто и справедливо упрекают в рутинности, но никому не было до сих пор известно, что она подвержена безумию, — напротив, все полагали, что если круг ее понятий узок, то все-таки она отличается большим здравым смыслом. Безумие, открытое в ней Молилари, «представляет серьезную опасность», от которой лекарством и служит политическая экономия.

Предположим, что массы, увлеченные утопией, успеют когда-нибудь захватить в свои руки управление народами; предположим, что они воспользуются своим могуществом для того, чтобы привести в исполнение те системы, которые несовместны с самыми необходимыми условиями существования обществ. Что же из этого выйдет? Благополучие общества, очевидно, будет сильно потрясено, и оно подвергнется той же опасности, тем же стра-

даниям, каким подвергается большой, вверивший заботу о своем здоровье какому-нибудь шарлатану. Я очень хорошо знаю, что жизненность общества достаточно велика, чтобы противиться самым вредным снадобьям, я очень хорошо знаю, что общество не может погибнуть; но оно может жестоко пострадать и остаться надолго в состоянии смертельного бессилия.

Укажем еще на то, что происходит среди общества, которому угрожают бедственные опыты утопии, поддерживаемой невежеством. Происходит то, что источники общественного благосостояния иссякают уже заранее, что опасение зла действует почти так же разрушительно, как самое зло. Тогда интересы, которым угрожает опасность, постоянной тревогой раздражаются, наконец, до такой степени, что решаются на самые тяжелые пожертвования для того только, чтобы избавиться от призрака, преследующего их. Для своего спасения от социализма они готовы сносить существующий порядок!

Вот почему полезно преподавание политической экономии. Когда массы лучше узнают условия существования общества, тогда нечего будет опасаться, — они сделаются лучшими хранителями общественного порядка. Им можно будет вверить священную заботу об интересах того общества, самое существование которого теперь подвергается опасности благодаря их невежеству и легковерию. Тогда можно будет дать им те права, предоставленные которых теперь было бы не совсем благоразумно. Общество станет тогда действительно неодолимым, потому что для своей защиты оно будет располагать всеми силами, кроющимися в нем.

Итак, политическая экономия — наука существенно религиозная, потому что она более, чем всякая другая, раскрывает пред нами всю мудрость и благодать провидения в высшем управлении делами людей. Политическая экономия — наука существенно нравственная, потому что она доказывает, что полезное всегда согласуется в окончательном результате с тем, что справедливо. Политическая экономия — наука существенно консервативная.

Прекрасные, совершенно основательные слова, составляющие, как мы сказали, единственное замечательное место в пустой болтовне нашего знаменитого гостя. Жаль только, что в своем усердии превознести политическую экономию обидел он весь человеческий род, объявив его безумным.

Мы просмотрели первую лекцию Молилари; надеемся скоро представить читателям подробный разбор его книги, а на нынешний раз довольно будет и этого. Характер книги виден, видны превосходные намерения автора «спасти общество от серьезной опасности и насмерть поразить социализм»; но видно также, что недостает у него сообразительности, нужной для такого прекрасного дела. Печатно бранить Прудона и пускать пыль в глаза своим петербургским собеседникам фразами вроде: «я говорил об этом с Прудоном, близким своим приятелям», — это как-то нейдет дельному ученому, а прилично только фату. Человек сколько-нибудь ученый не стал бы щеголять цитатами из Жозефа Гарнье или кого бы то ни было о словопроизводстве слова «экономия». Еще одна черта: слышали ли вы, читатель, о замечательной книге Шарля де Брукера? ⁷ Никто никогда об ней не слыхивал. Известно, что Брукер был довольно важным человеком в бельгийском правительстве, был хороший администратор, заботился о чистоте брюссельских улиц и т. д.; но как писатель он ничтожен. В предисловии Молилари на странице VI вы можете, однакоже, видеть,

что книга Брукера «Principes généraux D'économie politique», «должна занимать одно из первых мест между руководствами к политической экономии». Отчего же это? На V стр. того же предисловия вы можете увидеть, что Брукер доставил нашему просветителю должность профессора в Брюсселе. Вот это плохо. Можно посвятить свою книгу человеку, которого считаешь своим благодетелем, но превозносить его сочинения, не заслуживающие внимания, это уже [значит, просто быть прихвостником]; и сомнительно, чтобы [прихвостники] могли понимать общественные опасности или спасать общество; обыкновенно они проникаются усердием к одному, ненавистью к другому по желанию своих благодетелей. Ну что, если бы профессорские места в Бельгии раздавал не Брукер, а Прудон? Тогда, вероятно, почтенный Молиари иначе говорил бы о Прудоне, — чего доброго, даже посвятил бы ему, пожалуй, свою книгу; а написал бы ее уже не для поражения, а в защиту социализма.

Мы советовали бы издателю первой части курса Молиари не выполнять своего обещания «издавать в русском переводе остальные части книги немедленно по мере их выхода»: не стоит. Другое дело, например, «Руководство к сравнительной статистике» Кольба, которое издатель готовит к печати, как сказано, на обертке книги⁸. Это — сочинение хорошее, и за него будет можно поблагодарить г. Тиблена. Можно поблагодарить его и за издание перевода «Истории цивилизации в Европе» Гизо, — сочинения, к которому мы теперь переходим.

История цивилизации в Европе от падения Римской империи до французской революции. Соч. Гизо. Редакция перевода К. К. Арсеньева. Издание Николая Тиблена. С.-Петербург. 1860.

Нам нет возможности проследить все содержание книги Гизо, указать все те случаи, в которых он, по нашему мнению, ошибался, — для этого потребовалось бы написать целую книгу. Есть писатели, у которых на бесчисленном множестве страниц разведена водою одна какая-нибудь бедная мысль, — пример тому представлял нам Молиари. Выписали мы из него несколько строк, обнаруживающих его намерения, показали двумя-тремя выписками, что он не имеет знаний, нужных для исполнения такой задачи, — и довольно. Гизо не таков. Его исторические сочинения не шиты из клочков, нахватавшихся по немногим, большею частью довольно плохим, источникам. Это не дюжинные компиляции с высокими претензиями; Гизо — серьезный ученый; он сам глубоко изучал предметы, о которых говорит, и если у него много мыслей, несправедливых по вашему мнению, то каждая из них заслуживает серьезного опровержения, потому что взята не с

ветра. Писать такую подробную оценку всех подробностей мы здесь не можем и поневоле должны обратить внимание лишь на общий принцип его воззрения.

К переводу, изданному г. Тибленом, приложена довольно недурная статья о деятельности Гизо, написанная г. Барсовым. Автор этого предисловия старается определить убеждения политической и ученой партии, замечательнейшим представителем которой был Гизо, и показать русскому читателю, как надобно смотреть на лекции, предисловие к которым составляет эта статья. Едва ли справедливо находит г. Барсов коренною причиною недостатков общего взгляда Гизо на науку ту важность, которую Гизо придал понятию цивилизации и которая будто бы помешала ему дать в истории надлежащее место народным особенностям. Правильно или неправильно рассматривает Гизо историю разных народов, но нельзя сказать, чтобы он не замечал разницы между ними. Напрасно также порицать Гизо за то, что он устранил из своего плана рассказ отдельных событий, сосредоточив все внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в каждую данную эпоху. Напротив, эта особенность и составляет главную цену его исторических трудов. Историков-рассказчиков всегда были десятки и сотни, но никто из тогдашних французских историков не сделал так много, как он, для разъяснения смысла европейской истории. Если бы он вдавался в рассказ фактов, они только отвлекли бы его внимание от существенного предмета его лекций. Посвятив несколько часов описанием личностей и битв периода крестовых походов, он увидел бы, что у него едва остается несколько минут на общую характеристику этого явления. Но справедлив г. Барсов, когда упрекает Гизо за «излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях». Действительно, в этом и заключается слабая сторона ученых произведений Гизо. Он находит, что, в сущности, все было очень полезно для человечества. Страшное тяготение Римской империи истощило всю энергию подвластных стран, убило дух народов Пиренейского полуострова, Галлии, Британии, Италии до того, что эти десятки миллионов не могли отбиться от малочисленных варваров, — Гизо находит, что централизация империи была лучшим противодействием прежней муниципальной разрозненности. Водворяется варварство — хорошо и это: варвары внесли в европейскую историю принцип личной независимости. После страшного хаоса водворяется столь же страшный феодализм — хорошо и это: в феодальных замках явилась поэзия. На развалинах феодализма возвышается Людовик XI: он тоже был очень полезен, — в каком отношении, мы уже и не знаем, но все-таки полезен.

Ученым основанием такого оптимизма служило одностороннее понятие о прогрессе. Мы видим, что какова бы ни была Западная Европа в XIII веке, но все-таки она достигла положе-

ния лучшего, чем какое было в X веке, а XVII век, при всех своих бедствиях, был все-таки лучше XIII, и нынешнее время, каково бы оно ни было, далеко лучше XVII столетия. В чем же заключаются причины этих улучшений судьбы европейского человечества? Проще всего было бы искать этой благотворной причины в натуре самих европейских народов, которые, подобно всем другим народам, не лишены стремлений к просвещению, к правде и ко всему другому хорошему. Точно так же в людях есть врожденная способность и охота трудиться. Благодаря этим качествам человеческой природы постепенно устраивается лучший общественный порядок и благосостояние. Масса трудится, и понемногу совершенствуются производительные искусства. Она одарена любознательностью или, по крайней мере, любопытством — и постепенно развивается просвещение; благодаря развитию земледелия, промышленности и отвлеченных знаний смягчаются нравы, улучшаются обычаи, потом и учреждения; всему этому причина одна — внутреннее стремление массы к улучшению своего материального и нравственного быта, а формы, под влиянием которых должен выработываться этот прогресс, не всегда благоприятны ему, потому что происходят совершенно из других начал и поддерживаются совершенно иными средствами. Возьмем, например, феодализм. Что общего имел он с трудолюбием или любознательностью? Произошел он из завоевания, целью его было присвоение плодов чужого труда, поддерживался он насилием, ученых стремлений феодалы не имели; они хотели проводить в ленности все время, остававшееся у них от войн, турниров и тому подобных занятий. [Точно такова же была и центральная власть, вышедшая во Франции победительницей из феодальных междоусобий. Конечно, никто не скажет, чтобы она имела своею целью любознательность или труд.] Спрашивается теперь, каким же образом могли быть благоприятны прогрессу эти формы? [Они стремились к тому, чтобы держать трудящихся в полной зависимости от себя, а побуждением тут было то, чтобы постоянно захватывать как можно большую часть богатств, производимых трудом.] Французские земледельцы работали и должны были отдавать все, что только можно было взять у них. Этим ослаблялась энергия их труда, да и самый труд беспрестанно прерывался насилием всякого рода. Потому сельское население осталось во Франции почти чуждо прогрессу. Горожане часто успевали защищаться за своими стенами, но все-таки очень часто подвергались грабежу, да и в случаях удачной защиты постоянная надобность обороняться отвлекала их силы от труда. Можно ли после этого говорить о том, что тогдашние формы помогали труду? Если он достигал каких-нибудь результатов, то лишь наперекор этим формам. Точно то же надобно сказать и об успехах другого элемента цивилизации, о прогрессе знаний. Если они развивались, то лишь наперекор тогдашним формам. Только вот этим и объясняется

медленность прогресса, неудовлетворительность цивилизации после стольких веков исторической жизни. Ни в чем, кроме натуры человека, не находила себе цивилизация поддержки, а люди, трудом и любознательностью которых вырабатывалась она, находились в положении чрезвычайно стесненном, так что деятельность их была очень слаба и беспрестанно подвергалась помехам, уничтожавшим большую часть даже того немногого, что успевала она произвести. Едва приобретает она некоторые успехи в городах Верхней Италии, как идут на нее полчища, и результатом борьбы императоров с папами оказывается подчинение ломбардских и тосканских городов игу кондотьеров; едва начинают расцветать трудолюбие и наука в Южной Франции, как Иннокентий III¹ указывает полчищам Северной Франции эти цветущие области, провозглашая истребление альбигойцев. Так или иначе, та же самая история постоянно повторялась повсюду в Западной Европе.

Но результат, произведенный человеческою натурою наперекор форме, тяготевавшей над ним, очень многими приписывается действию формы: при ней, следовательно, благодаря ей, — таков силлогизм, обманывающий большинство историков. По такому силлогизму народ считает зиму причиной летнего плодородия и мог бы считать причиной теплоты, сохраняющейся в жилищах, наперекор влиянию внешнего холода. [Валуа, беспрестанно подделывавшие монету, наказывали других фальшивых монетчиков, перебивавших у них этот выгодный промысел. Есть такие легковверные историки, которые готовы назвать за это Валуа хранителями общественного кредита. Людовик XI старался отнимать области у своих вассалов, чтобы самому получать доходы, которыми прежде пользовались эти вассалы, — множество историков выводят из этого, будто бы усиление Людовика XI принесло пользу Франции, избавив ее от феодальных притеснений; они не хотят сообразить, что притеснения остались в прежней силе, только стали производиться не в пользу прежних провинциальных владетелей, а в пользу центральной власти.]

Гизо не заслуживал бы особенного порицания, если б он не превосходил в этом отношении других историков. Но то, что у них было только следствием невнимательности, оставалось простою ошибкою, у него возведено в теорию, развитую совершенно последовательно. У других историков мы найдем, что множество вредных явлений выставляются полезными, но все-таки остается в их изложении некоторое количество вредных явлений, выставленными как действительно вредные. У Гизо не то: у него каждый значительный факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу. Мавры завоевали Испанию, — это полезно было для прогресса, потому что привело в Европу арабскую цивилизацию; мавры, успевшие цивилизоваться в Испании, изгоняются из нее людьми гораздо менее просвещенными, — это опять по-

лезно для цивилизации, потому что европейцы тут получают ещё больше случаев цивилизоваться. Следствия победы — введение инквизиции, отнятие всех прав у испанского народа, разорение всей Европы честолюбием Карла V и Филиппа II — нужды нет, Гизо все-таки называет благотворными явлениями факты, которые привели к таким результатам.

Этот крайний оптимизм происходит у него от характера его политических убеждений: он всегда был приверженцем старины. Новым идеям он всегда делал очень близок к средневековому устройству. Напрасно говорят, что он стал реакционером только в последнюю половину жизни, — он с самого начала был реакционером. Он в 1814 году встретил Бурбонов с радостью, потому что они были представителями старинных учреждений. Во время Реставрации он разошелся с крайними роялистами, но это оттого, что они были ослепленные фанатики, а он — человек холодного образа мыслей, желавший не переходить границ благоразумия в реакционном стремлении. Знаменем его всегда была легитимность. До последней минуты он противился низложению Бурбонов в 1830 году, выказал усердие к ним не меньше самых записных легитимистов. Он разошелся с ними опять только потому, что они хотели действовать неблагоприятными, непрактичными средствами: по их мнению, для пользы старинных учреждений надобно было возвратиться во Францию Бурбонов посредством силы. Гизо видел невозможность достичь успеха этим путем и, понимая непрактичность желания восстановить Бурбонов, хотел, чтобы Орлеанский дом стал полным представителем всех принципов, которым прежде служили Бурбоны. Он совершенно достиг этой цели. Новое правительство постоянно действовало так, что ничего лучшего не могли бы делать и сами Бурбоны. Несмотря на свой кальвинизм, Гизо покровительствовал иезуитам и помогал швейцарскому Зондербунду, начавшему войну против остальных кантонов в защиту иезуитов². Когда Гизо был министром, французская политика держалась совершенно тех же начал, каким следовал Меттерних. Будучи приверженцем старины по своим политическим убеждениям, Гизо чувствовал надобность выставлять с хорошей стороны средневековые элементы и в своих ученых сочинениях. Нет, мы выразились неверно: не то, что он чувствовал надобность выставлять их с хорошей стороны, а в самом деле он видел в них хорошего несравненно больше, чем дурного.

Странно может казаться после этого, что у нас, да и в остальной Европе, большинство писателей считает Гизо одним из представителей либерализма. Но причина тут очень простая и обыкновенная; она заключается в неразборчивости общественного мнения, одинаково легко порицающего или превозносящего за несколько пустых фраз, лишенных всякого определенного значения. Помните ли, какая история поднялась у нас из-за какой-то

статейки в «Иллюстрации» об евреях, — статейки, не имевшей в себе ничего особенного. Сонм уважаемых литераторов провозгласил за то «Иллюстрацию» органом фанатизма, желающего возжечь инквизиционные костры. Начался такой гвалт, от которого глухие могли бы вновь оглохнуть³. Точно так бывает и наоборот. Скажет, например, человек: «я не одобряю насилия»; кажется, что тут особенного? — ведь насилия никто не одобряет. А вот смотрите, уж эта фраза приобрела ему имя либерала. Притом же и положение Гизо или Тьера было совершенно особенное: французские министры были единственными конституционными министрами на континенте Европы. Правда, существовала конституция в Голландии, в Бельгии, в Бадене; но кто когда слышивал что-нибудь об этих неважных государствах? Внимание континентальных либералов было занято исключительно прениями парижской палаты; и когда они читали речи Тьера или Гизо, так красноречиво говоривших о конституции, они думали: как, однакоже, отличаются эти министры от Меттерниха, преследующего слово «конституция»! Так и упрочилась за Тьером и Гизо репутация либеральных министров. Что они делали, — кому было время разбирать? Слушать слова гораздо легче, чем исследовать поступки.

Опыт книги для грамотного простонародья. Составил помещик А. С. Зеленой. Сельское хозяйство, домашний лечебник для скота, басни, сказки-песни. Спб. 1860.

Книг, подобных той, заглавие которой мы выписали, нельзя не встречать с полным сочувствием даже и тогда, когда они не удовлетворяют вполне своей задаче. Простому народу у нас доселе почти решительно нечего читать. Г. Зеленой, как сам помещик, понимал очень хорошо этот недостаток, и, вероятно, ему наскучило ждать, пока гг. литераторы и ученые, толкующие непрестанно о необходимости народного образования и ничего, однакож, дельного для этой цели не делающие, напишут что-нибудь действительно полезное и нужное для народа. Поэтому он приступил к этому делу сам. Мысль его была составить энциклопедию для крестьянского чтения. Так как для крестьян важнее всего сведения, относящиеся к земледелию и к уходу за скотом, то эти сведения и заняли в книге г. Зеленого самый большой отдел. Помесячные земледельческие заметки г. Зеленой извлек из земледельческого календаря Эрн. Рудольфа, дополнив их своими наблюдениями; правила о предохранении скота от болезней взял из свода законов 1853 года; к этой существенной части сборника г. Зеленой присоединил в конце басни, сказки, песни, взятые из Крылова, Пушкина, Лермонтова, Кольцова, и в начале поместил кое-какие сведения о русском государстве — и таким

образом составила́сь энциклопедия для крестьянского чтения. Если о книге г. Зеленого судить по идее, то есть что бы должна была содержать крестьянская энциклопедия и как она должна быть составлена, то в книге его, разумеется, можно отыскать много несовершенного. Но пословица говорит: *на безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин*. Потому мы смело рекомендуем всем добросовестный труд г. Зеленого, изданный с искренним и единственным желанием доставить простому народу полезное чтение. Издание г. Зеленого по дешевизне своей у нас небывалое. Книга в 17 печатных листов, изданная очень опрятно, стоит всего 30 коп.

<ИЗ № 10 «СОВРЕМЕННОГО»>

Записки Льва Николаевича Энгельгардта. Москва. 1860 г.

Знатоки домашней нашей литературы по новой русской истории, вероятно, найдут, что «Записки» Л. Н. Энгельгардта составляют в ней приобретение не совершенно ничтожное¹. Действительно, отыскиваются в этой книжке материалы для пополнения послужных списков довольно многих второстепенных лиц екатерининской эпохи; но большинство публики найдет в воспоминаниях Энгельгардта мало любопытного; исключением служат разве два-три анекдота, по нужде могущие назваться характеризующими тогдашнее время. Мы извлечем их здесь.

Энгельгардт говорит, что был избалован домашним воспитанием и исправился только благодаря какому-то Эллерту, содержавшему в Смоленске пансион, в который отдали испорченного мальчика. «Касательно наук» Эллерт был «малосведущ», но зато умел внушать своим воспитанникам хорошую нравственность, «строгостию содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины ферулами* из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа; словом, совершенный был тиран». Даже ученикам принадлежало право наказывать ферулою своих товарищей; право это давалось навязкою красного или голубого банта в петлицу ученика, избираемого в помощники содержателю пансиона. Имевшие красный бант получали право давать своим товарищам один удар ферулою по руке; имевшие голубой бант — два удара. «Чтобы заслужить такой знак отличия, продолжает Энгельгардт, надобно было вести себя хорошо и прилежно учиться; я почитаю, рассуждает он, что поощрение это много способствовало к нравственности». Надобно полагать, что в самом деле «способ-

* Линейками. — Ред.

ствова́ло». Впрочем, замечает сам Энгельгардт, «все было основано на побоях», и «из учеников от такого воспитания много было изуродовано; однакоже пансион был всегда полон». Что ж такое в самом деле? Если и изуродует Эллерт ученика, то, по крайней мере, основательно внушит ему хорошую нравственность. Так делалось около 1780 года. Составляя свои «Записки» лет через 50 после того времени, Энгельгардт как будто не совсем порицает смягчившиеся школьные обычаи 1820—1830 годов; но все-таки замечает, что «касательно мальчиков умеренная строгость не лучше ли неупотребления телесного наказания?» Надобно отдать ему честь, он выставляет для своего мнения прочное основание, которое почему-то забывают указывать нынешние приверженцы розог. «Нужно, чтобы они (мальчики) с юности попривыкли даже и к несправедливости». Против этого нельзя спорить: в летах взрослых человек будет же подвергаться несправедливости, так не лучше ли, в самом деле, подготовить его к тому с детства? Но для этого, конечно, мало было бы только сечь его; непременно нужно еще сечь его без вины, несправедливо. Мы видим, что оно и хорошо, если так делается.

По какому-то странному обстоятельству многие из любезных наших соотечественников почти только одно то человеческое и могут припомнить из чувств всей своей жизни, что они чувствовали боль, когда их секли; все остальные их воспоминания уже состоят исключительно в разных служебных отношениях, в получении наград или выговоров, повышений или неудач по чинам и должностям. Энгельгардт не совсем избежал этой участи. Видно, что ему в детстве не нравилась теория и практика Эллерта, «способствовавшая нравственности»; но видно также, что, достаточно «попривыкнув» к ней, он сделался человеком как следует, и дальше вы уже не найдете в его «Записках» никаких следов, чтобы он рассуждал о качествах порядков, в которых стала проходить его жизнь по окончании курса нравственности в пансионе Эллерта. Издатель «Записок Энгельгардта», г. Н. Пу́тыя², говорит в коротеньком предисловии, что «Записки» эти отличаются «простотою и чистосердечием рассказа и характером правдивости». Это так; видно, что автор был человек честный и почтенный. Но какое впечатление производили на него вещи, виденные им в течение долгой жизни и вскользь упоминаемые у него, этого не спрашивайте. Был такой-то сильный человек, сделал то-то, находился ко мне в таких-то отношениях, — этим обыкновенно и кончаются его заметки о людях; разве-разве изредка он прибавит: «обращался с своими подчиненными ласково». Понятие государственной пользы и человеческой справедливости как будто не существует для автора «Записок». Если не ошибаемся, об одном только лице выразился он не совсем официально, об Аракчееве. После Аустерлицкой битвы³ император Александр отставил от службы Вязмитинова, бывшего военным министром и петербург-

ожим главнокомандующим; продолжаем словами самого автора: «место его заступил граф Аракчеев, который, по некоторым обстоятельствам, был личным его неприятелем. Но к чести графа Аракчеева, и, можно сказать, в одном только сем случае, он показал себя незлобивым; через две недели по приеме сей должности он подал государю просьбу об увольнении его от службы», сказав, что по вступлении в должность рассмотрел дела и нашел Вязмитинова ни в чем невиновным, а потому не может оставаться на своем месте, если не будет оказано справедливости Вязмитинову, оставленному по неосновательным подозрениям. Государь возвратил свою милость Вязмитинову. Вот только в рассказе этого случая и выразилась у Энгельгардта какая-то тень человеческого суждения: он не удержался и заметил, что Аракчеев вообще не был «незлобив». Это слово представляет едва ли не единственное исключение в сплошном ряду рассказов совершенно бесцветного характера. Да мы забыли еще два отступления от тона реляций или должностных меморий: Энгельгардт приводит несколько анекдотов о причудах Потемкина и странных выходках Суворова. Только эти немногие строки и не могли бы быть целиком перенесены из воспоминаний Энгельгардта о значительных лицах в формулярные списки каждого лица по принадлежности. Но ведь и то сказать: кто же мог тогда упомянуть о Потемкине или Суворове, не упоминая о их странностях? Неофициальные, так сказать, черты эти были обращены почти в официальную принадлежность могущественного правителя и знаменитого полководца. Энгельгардт выказал бы самостоятельность, если бы удержался от этих отступлений; они не уменьшают, а, напротив, еще усиливают впечатление совершенной официальности, производимое его «Записками».

Мы также ошиблись, сказав, что выражение об Аракчееве как о человеке, не отличавшемся незлобием, представляется в целой книге единственным примером человеческого суждения; есть еще другой случай, — он относится к Суворову. Однажды Энгельгардт должен был явиться к Суворову с рапортом и обежать за его столом. «Чтобы сделать ему угодное, — говорит автор, — понаслышке изготовился я отвечать на все его странные требования», но все-таки «получил чувствительный афронт». Пред обедом у Суворова гостям разносили водку по чинам, и, если случалось несколько гостей одного чина, сержант, подававший водку, спрашивал у них, кто имеет какое старшинство в своем чине. Пришлось сержанту спросить об этом и Энгельгардта, —

я сказал, что уже 6 лет 3 месяца и 12 дней в сем чине, и усмехнулся. Казалось, что граф сего не мог заметить; но другой причины к его неудовольствию не было. Сели за стол: мне пришлось сесть наискось против графа. Вдруг он вскочил и закричал: «воняет!» и ушел в другую комнату. Адьютанты его начали открывать окошки и сказали ему, что «дурной запах прошел». «Нет, — кричал он, — за столом вонючка». Они стали обхо-

дить всех сидящих и начали обнюхивать; один ко мне подошел, сказал: «верно, у вас сапоги не чисты, извольте выйти; граф не войдет, пока вы не встанете и не прикажете себе сапоги вычистить; тогда опять можете сесть за стол». Представьте мое смущение; однакож, делать было нечего. Я встал, сказал тому адъютанту: «доложите графу: я вижу, что моя физиономия ему не понравилась; как бы мне приятно ни было обратить на себя благосклонное его внимание, но я к нему более не явлюсь» — и вышел.

Мы с удовольствием приводим этот случай, окончание которого показывает в авторе «Записок» человека с благородной душой. Но очень вероятно, что без обидного личного для него столкновения он не написал бы следующих строк, идущих прямо вслед за приведенным нами анекдотом:

Посудите, приятно ли было служить при нем человеку с благородным чувством; признаюсь, что, несмотря на его великий гений, и служа под ним в его славных победах, приобретая чины и ордена, трудно перенести подобные оскорбления, которые не с одним со мной случались, но и с некоторыми генералами.

Мы видим в Энгельгардте новый образец того же самого характера наших дедов, какой видели в Державине⁴. Люди, воспитывавшиеся лет 80 или 100 тому назад, часто оказывались в жизни людьми честными, — в каком веке и в каком народе не встречается очень много личностей, по натуре расположенных к благородству? Но, за очень редкими исключениями, они оставались людьми, не имеющими ровно никакого образа мыслей, — людьми, у которых все понятия о добре и зле заменялись вековыми правилами почти безразличного одобрения всему, что жило и действовало выше их. По внушениям старших родственников, воспитавшихся так же, как они, они привыкали думать: «так делается, стало быть, так тому и следует быть; не нами заведено, не нами и кончится; стену лбом не прошибешь; благоразумному человеку не следует рассуждать о вещах, которые приходится ему исполнять; от кого зависишь, того и слушайся; хорошо будешь служить, будет и тебе хорошо, а от кого ты получаешь хорошее, тот и хороший человек». Если начальник награждал и отстаивал своих подчиненных, он был хороший начальник; а хороший начальник, само собою разумеется, был полезным слугой отечеству; а если человек был полезным слугой отечеству, то как же не думать о нем с почтением? Эти правила житейской мудрости нарушались тогдашними людьми лишь в тех случаях, когда им самим приходилось от кого-нибудь получить обиду, — тогда обиженный начинал рассуждать о качествах обидевшего и доходил до открытия в нем дурных сторон, которых иначе никак не заметил бы. Новиков, Радищев, еще, быть может, несколько человек одни только имели тогда то, что называется ныне убеждением или образом мыслей. Остальные жили, служили честно или нечестно, смотря по своей натуре, и не думали ни о чем, кроме того, что лично касалось их. Конечно, тем большего ува-

жения заслуживает честность в личных делах, которая встречалась нередко и в те времена. Ничего особенного нет, если не бывает грабителем и низким пройдохой человек в нынешнее время, встречающий вокруг себя многих людей с благородным образом мыслей, находящий в них поддержку своим хорошим стремлениям; но в прежние времена, когда было так мало возможности развить в себе сознательные убеждения, честность даже в личных делах была бы явлением удивительным, если бы мы не знали, что люди от природы имеют влечение к честности, и только слишком неблагоприятные обстоятельства подавляют это влечение, естественно сохраняющееся во всех, чья жизнь не развивалась уже под слишком дурными влияниями. Правда и то, что честность только в личных делах, не сопровождаемая никакими определенными понятиями об общих вопросах народного блага, приносит слишком мало пользы обществу.

Вот, например, попробуйте отыскать в «Записках» Энгельгардта что-нибудь свидетельствующее о какой-нибудь пользе, принесенной им хотя какому-нибудь, самому маленькому клочку общества, хотя какой-нибудь роте солдат, — ничего подобного не найдете. Да и как было бы найти, когда, очевидно, он и не думал, что могут быть у офицера к солдату какие-нибудь обязанности, кроме обязанности быть исправным командиром и держать в исправности свою часть.

Но ведь мы все-таки почти еще и не начинали знакомить читателя с содержанием «Записок» Энгельгардта. Впрочем, дело это можно кончить скоро. Три четверти книги заняты воспоминаниями о военных действиях, в которых участвовал автор, и мы не полагаем, чтобы отыскалось в этих подробностях новое, сколько-нибудь важное. Остальная четверть тоже почти вся посвящена делам, лично относившимся до автора, главным образом до его службы, также не представляющим ничего особенного. Затем остается несколько эпизодов, составляющих вместе страниц 10 или 12, не совсем лишенных интереса. Вот, например, анекдоты о свидениях, являвшихся могилевскому губернатору Пассеку. Во время своего путешествия по Белоруссии в 1780 году императрица Екатерина II остановилась на неделю в Могилеве, где была приготовлена ей великолепная встреча наместником, графом Захаром Чернышевым; за целый месяц до прибытия государыни съехалось в Могилев множество знатного и богатого народа, занимавшегося, в числе других развлечений, очень сильною карточной игрою. Послушайте же, какая удивительная вещь приключилась тут:

Случилось в то время странное видение бывшему тогда губернатору Петру Богдановичу Пассеку; он был страстный игрок: в одну ночь проиграв тысяч с десять, сидел около трех часов у карточного стола и вздремнул, как вдруг, очнувшись, сказал: «attendez; приснился мне седой старик с борою, который говорит: «Пассек, пользуйся, ставь на тройку 3000, она

тебе выиграет соника; загни пароли, она опять тебе выиграет соника; загни сетелева, и еще она выиграет соника» *. Ба, да вот и тройка лежит на полу; идет 3000. И точно, она сряду выиграла три раза.

Обращаясь от таинственной сферы, в которую возносит нас этот рассказ, к житейским делам, мы под 1782 годом встречаем у Энгельгардта анекдот, который сам по себе неважен, но показывает, какими авантюристами наполнялось тогда наше общество, вслед за западноевропейским.

Сербу Зоричу, бывшему некоторое время, по тогдашнему выражению, в случае **, было пожаловано местечко Шклов (Могилевской губернии) в числе других наград при увольнении от его обязанностей. Он жил там великолепно, и вокруг него постоянно толпилась целая масса всякого сброда, знатного или ловкого. Проезжая в 1782 году по Могилевской губернии, Потемкин остановился на сутки в Шклове. Тут явился к светлейшему князю еврей и объявил, что камердинер графов Зановичей, живущих у Зорича, выпускает сторублевые фальшивые ассигнации. Уезжая из Шклова, Потемкин велел произвести об этом следствие, «не щадя ни самого Зорича, если будет в подозрении».

Теперь я делаю отступление и скажу о жизни Зорича и о Шклове. Ни одного не было барина в России, который бы так жил, как Зорич. Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и наций; многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича, когда он служил майором в гусарском полку, и жили на его совершенном иждивении; затем отставные штаб- и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы всякого рода, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки, — словом, всякий сброд и побродяги; всех он ласково принимал, стол был для всех открыт; единственно для веселья съезжалось даже из Петербурга, Москвы и разных губерний лучшее дворянство к 1 сентября, дню его имени, на ярмарки два раза в год, и тогда праздновали недели по две и более; в один раз было три рода благородных спектаклей, между прочим французские оперы играли княгиня Катерина Александровна Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры; по-русски трагедии и комедии — князь Прокофий Васильевич Мещерский с женою и прочие; балет танцевал Д. И. Хорват с кадетами и другими; польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки; иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катания в шлюпках на воде. Словом, нет забав, которыми бы к себе хозяин не приманивал гостей, и много от него наживались игрою. Хотя его доходы были и велики, но такого рода жизнь ввела его в неоплатные долги.

В числе живущих у него был турецкий князь Ислан-Бей, второй сын сестры царствовавшего султана; когда Зорич был в плену, он с ним был знаком и пользовался его благодеяниями. Сей князь был воспитан тайно под чужим именем, ибо, по турецким законам, сестра султана одного только может иметь в живых сына, а последующих должна при рождении задушать. По материнской природной нежности мать сберегла его; когда же начали догадываться, что он близкий человек султану, тогда мать его отправила в чужие края, и он, быв во Франции, данные ему деньги все прожил, а бо-

* Соника — сразу, с первой карты; пароли — удвоение ставки; сетелева — четверное первой ставки. — *Ред.*

** «Быть в случае» значило состоять фаворитом (любовником) царицы. — *Ред.*

лее ему не присылали. Вспомнив свое знакомство с Зоричем, приехал в Шклов просить взаимной помощи, в чем ему и не было отказано. Он был прекрасный и любезный человек, говорил хорошо по-французски и скоро выучился изрядно говорить по-русски; впоследствии старший брат его умер, и султан, узнав о нем, позволил ему возвратиться в Константинополь. Многие русские потом его там видели и сказывали, что дан ему чин подавать султану умиываться. Я для того сказал о нем, что можно ли было подозревать кого-либо, с каким намерением кто там жил? Тем более Зановичи могли быть без малейшего замечания, ибо они приехали как путешественники, познакомявшись в Париже с Неранчичем, родным братом Зорича, которого и ссудили не малым числом денег; приехали же, имея паспорта, жили роскошно и вели большую банковую игру.

По следствию открылось, что как Зорич был много должен, то Зановичи хотели заплатить за него долги, а Шклов с принадлежавшим именем взять в свое управление на столько лет, пока не получат своей суммы с процентами; Зоричу же давать в год по сту тысяч рублей, по тогдашнему времени большую сумму; для сего просиживали они с ним, запершись, ночи, уговаривая его по сему предмету, и употреблен в посредство учитель, бывший в корпусе, Сальморан. Зорич говаривал, что скоро заплатит свои долги и будет опять богат, что и подало подозрение, что он участвовал в делании фальшивых ассигнаций. Тоже послужило к таковому невыгодному для него мнению, что два карла меняли фальшивые ассигнации; это случилось оттого, что они держали карты; а на больших играх, особливо когда Зановичи металы банк, за карты давали по сту рублей и более.

Графы Зановичи родом из Далмации; меньшой из них был иезуитом; по уничтожении сего ордена монахов, возвратился к брату, который, прожив имение, стал жить на счет ближних разными оборотами; оба получили хорошее воспитание, при большом уме обогащены были познаниями; во многих были государствах и везде находили простячков, пользовались то игрою, то другими хитрыми выдумками; сказывали даже, что их портреты в Венеции были повешены, а они, сделав какое-то криминальное дело, успели ускользнуть; таким образом встретились с Неранчичем в Париже, как сказано прежде, и видно, что план их тогда же имел основание.

Когда уговорили Зорича на их предложение, то старший остался в Шклове, а меньшой уехал за границу, под видом там продать свое имение и приехать с деньгами для уплаты долгов Зорича; но истинный предмет был, чтобы там наделать фальшивых ассигнаций и уже приехать с готовыми в Россию и для делания оных привезти инструменты; он был за границую несколько месяцев, а по возвращении проживал с полгода в Шклове до приезда светлейшего князя. С отъездом его светлости в Дубровну меньшой Занович с Сальмораном отправился в Москву.

Отец мой послал одного курьера обогнать его и известить главнокомандующего в Москве, а другого вслед — для надзирания за Зановичем.

Председатель Малеев, получив наставления, с земскою полициею и губернскими драгунами отправился в Шклов, ночью застал старшего графа Зановича в постели, отправил его за караулом в Могилев, прямо в губернское правление; квартиру его окружили караулом; также взяты Зоричевы карлы, а с самого Зорича взята подписка не выезжать из дома, пока не сделает ответа на запросные пункты. На квартире Зановича, по осмотре, ничего подозрительного не оказалось; найдено тысячи две рублей золотом, несколько сотен фальшивых ассигнаций и несколько вещей из дорогих камней. Камердинер его оказался его любовницею-итальянкою, но она ничего не знала, ибо она только ночевала на квартире, а в прочее все время была в доме у Зорича. Князь Ислан-Бей был великий неприятель сих побродяг, беспрестанно с ними ссорился и неоднократно уговаривал Зорича, чтобы их прогнал.

В допросе губернского правления Занович показал, что брат его поехал через Москву в С.-Петербург явить правительству выменные ассигнации за границую от жидов за дешевую цену; но после нашли в его квар-

тире под полом все инструменты для делания ассигнаций; по открытии чего он и отправлен был в С.-Петербург. Зорича же совершенно оправил в звании фальшивых ассигнаций.

Меньшой Занович схвачен был в Москве у самой заставы; найдено с ним с лишком 700 000 фальшивых ассигнаций, все сторублевых. Станувшись с братом, он показывал то же; потом, по признании их вины, заключены они были в крепость Балтийский порт. Во время нападения на оный порт шведов в 1789 году, по малочисленному гарнизону, арестанты были выпущены для защиты оного; Зановичи оказали особливую ревность и разумными советами некоторые услуги, за что по освобождении порта высланы за границу.

В Шклове было множество бродяг, так что ежели случалась нужда отыскивать какого-нибудь сорванца, то государыня приказывала посмотреть, нет ли его в Шклове, и иногда, точно, его там находили.

Вот еще рассказ о том, как тогдашние вельможи из хвостовства своим богатством кормили и поили, сами не знали кого:

Образ жизни вельмож был гостеприимный по мере богатства и звания занимаемого; почти у всех были обеденные столы для их знакомых и подчиненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием, у кого обедать или проводить с приятностию вечер. В сем случае фельдмаршал граф Кирилла Григорьевич Разумовский отличался от прочих. У него ежедневно был открытый стол для пятидесяти человек; много бывало у него за столом таких гостей, которых он никогда не знавал. Рассказывали, что граф любил играть после обеда в шашки, без денег; а как она игра мало приносила удовольствия, то мало было и охотников. Случилось, что какой-то штаб-офицер в один день у него обедал; по предложению, кому угодно играть в шашки с его сиятельством, сей штаб-офицер рад был таковой чести, и уже всякий день, недель с шесть, продолжал сию игру. Вдруг сего майора не стало; по привычке граф его спрашивал, но никто в доме не знал, кто этот был господин майор, откуда он приехал и куда девался.

Через несколько страниц мы находим анекдот о Фон-Визине, который удавалось читать нам где-то и прежде. Энгельгардт рассказывает, что Фон-Визин, «облагодетельствованный» И. И. Шуваловым, «перекинулся» к Потемкину, бывшему неприятелем Шувалову, «и в удовольствие его много острого и смешного говаривал насчет бывшего своего благодетеля». Однажды Потемкин, — продолжаем словами Энгельгардта, —

был в досаде и сказал насчет некоторых лиц: «как мне надосли эти модные люди», — Да на что же вы их к себе пускаете, — отвечал Фон-Визин, — велите им отказывать». — «Правда, — сказал князь, — завтра же я это сделаю». На другой день Фон-Визин приезжает к князю; швейцар ему докладывает, что князь не приказал его принимать. «Ты, верно, ошибся, — сказал Фон-Визин, — ты меня принял за другого». — «Нет, — отвечал тот, — я вас знаю, и именно его светлость приказал одного вас только не пускать по вашему же вчера совету.

Мы очень были бы рады, если бы историки нашей литературы успели доказать неосновательность этого рассказа, как князю Вяземскому удалось доказать неосновательность слуха, будто бы Фон-Визин отплатил неблагодарностию Н. И. Панину³. По поводу смерти Потемкина, Энгельгардт рассказывает, как мы

уже упоминали, несколько анекдотов о капризах светлейшего князя. Между прочим он сообщает нам фамилию знавшего наизусть календарь чудака, которого Потемкин вызвал к себе за несколько сот верст, чтобы удостовериться в твердости его знания; имя этого человека было Спечинский. Вот один из анекдотов, известный менее других.

Однажды княгиня (Долгорукая) * сказала, что любит цыганскую пляску. Князь Григорий Александрович ** узнал, что бывшие в конногвардии вахмистры два брата Кузьмины, выпущенные ротмистрами в кавказский корпус, мастера плясать по-цыгански, приказал за ними послать, и когда их привезли, одели одного из них цыганкою, а другого — цыганом. На одном бале сделан был для княгини сюрприз, и должно отдать справедливость мастерству гг. Кузьминых. Я лучшей пляски в жизнь мою не видал. Так плясали они недели с две и отпущены были в свои полки на Кавказ, с тою только для них пользою, что проезд им ничего не стоил.

Кроме этих немногих анекдотов, которые, как видит читатель, не имеют ровно никакой исторической важности, можно заметить еще разве следующий случай, бывший с графом Ланжероном. Производя смотр войскам в Казани, император Павел остался недоволен генералом Игельстромом, который был инспектором их, и сказал Ланжерону, что назначит его на место Игельстрома. Ланжерон отвечал, что не может принять этого места по многим «резонам». Государь, находившийся в той же комнате, приказал Нелидову подойти к Ланжерону и спросить, какие резоны заставляют его отказываться от повышения.

Граф Ланжерон отвечал: первый и последний: Игельстром мне благодетельствовал, и я не хочу, чтобы моим лицом человеку, состаревшемуся в службе его императорскому величеству, было сделано таковое чувствительное огорчение. Не успел он вымолвить, как государь подбежал к нему, топнул ногой и скорыми большими шагами ушел в спальню.

Бывшие тут не смели тронуться с места; Лассий сказал: «Ланжерон, что ты сделал? Ты пропал». — «Что делать! Слова воротить не можно; ожидаю всякого несчастья, но не раскаиваюсь; я Игельстрома чрезвычайно почитаю, он не раз мне делал добро».

Через полчаса времени государь, вышед из спальни, подошел к графу и, ударя его по плечу сказал: «Langeron, vous êtes un bon enfant, toujours je me souviendrai de votre généreux procédé (Ланжерон, вы добрый малый; всегда я буду помнить ваш благородный поступок)».

Вот мы извлекли из «Записок» Энгельгардта едва ли не решительно все, сколько-нибудь заслуживавшее извлечения, и количество извлеченного оказалось очень невелико, а историческое достоинство еще меньше. Как объяснить такую скудость воспоминаний, записанных человеком, жившим очень долго, близко видевшим почти всех замечательных людей своего времени? Конечно, многое тут зависит от самого отсутствия в нем

* Екатерина Федоровна. — *Ред.*

** Потемкин. — *Ред.*

каких бы то ни было определенных понятий: он как будто бы не знал, что важно, что неважно; не знал, что ему нужно наблюдать; не замечал и того, что могло быть замечено даже без внимательного наблюдения. Но этим еще нельзя объяснить всего факта. Неужели же на самом деле не было замечено и слышано Энгельгардтом и не сохранилось в его памяти ничего, кроме служебных подробностей, свойственных формулярным спискам, и пяти-шести анекдотов, очень неважных? Будьте, как хотите, невнимательны к тому, что делается около вас, все-таки невольно вы увидите и услышите довольно много не совсем маловажного для истории, если много лет находитесь подле исторических людей. Нет, отсутствие мысли, которая руководила бы наблюдательностью, не единственная причина сухости и бедности записанных Энгельгардтом воспоминаний: видно, что при всей своей правдивости он считал излишним вспоминать многое из того, что видел. Официальность понятий о вещах и людях, происшедшая от недостатка определенного образа мыслей, доходила в нем до того, что он считал пустым легкомыслием, вольнодумством говорить о вещах, не принадлежавших к сфере официальности. Только то, что делалось на сцене, казалось ему достойным внимания; закулисные приготовления событий и самые отношения их к общественной жизни находил он пустяками, недостойными воспоминания. Мы вовсе не думаем видеть в этом какую-нибудь особенность Энгельгардта, за которую можно было бы хвалить или порицать лично его. Нет, именно потому и выставляем мы эту черту его, что она была господствующею чертою людей того времени. Если бы она казалась нам личною принадлежностью Энгельгардта, мы не почли бы ее вещью, достойною внимания: какое нам дело до личных особенностей человека, не пользовавшегося никаким влиянием, не игравшего никакой исторической роли? Но, будучи общим характером целых поколений, характер, находимый нами в Энгельгардте, оказывается делом очень важным: он служит коренным объяснением возможности такой истории, какую имеем. Масса общества, одним из обыкновенных людей которого является Энгельгардт, была так же, как он, апатична и безразлична ко всему, от чего зависит судьба общества: она не рассуждала, кроме разве тех случаев, когда дело шло о национальных предубеждениях. Мы воевали с пруссаками; зачем и для чего воевали, об этом никто не заботился, и знали только, что если мы воевали с пруссаками, то значит, что они — наши враги. Обнаружение дружбы к пруссакам представилось нашим предкам изменою, бедою, хотя ни измены, ни беды никакой тут не было; нарушалось только предубеждение, не основанное ни на чем дельном. Но от этого нарушения произошла перемена. А когда не нарушались предрассудки, могло делаться все, что делалось в прошлом веке, и общество смотрело равнодушно, как будто не понимая, что дела эти касаются до него.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Рязанская губерния. Составил М. Баранович. Спб. 1860 г.¹

В предисловии к изданному теперь тому «Материалов, собранных офицерами генерального штаба», сообщаются следующие сведения о происхождении и плане сборника, обещающего быть очень важным для науки.

Военное министерство и в особенности генеральный штаб постоянно встречали потребность в статистических сведениях о России. Потому в 1836 году высочайше повелено было генеральному штабу составлять и через каждые три года исправлять и пополнять военно-статистические обозрения губерний и областей Российской империи. Для этих обозрений дана была общая программа, по которой описание каждой губернии или области должно было состоять из двух частей: одна заключала в себе «общие» статистические и географические сведения, другая — сведения специальные по предметам ведомств генерального штаба, провиантского и комиссариатского. По такой системе с 1837 до 1854 года были сделаны три издания военно-статистических описаний 69 губерний и областей империи; два первые издания были литографированы, а третье напечатано, но только для исключительного употребления главных военных управлений, а в публику эти издания не выпускались.

В 1856 году, по заключении мира, были возобновлены, но уже на новых основаниях, статистические работы генерального штаба, приостанавливавшиеся во время войны. Признано было, что работы эти заключают в себе много сведений, могущих быть обнаруженными и служить полезными материалами для ученых; потому с 1857 года они производятся в размерах, обширнейших прежнего, с тем чтобы одна их часть, под названием статистического описания, печаталась для публики, и только другая часть, собственно военное обозрение, издавалась для исключительного употребления военного министерства. «Недостаток в офицерах (говорится в предисловии) и разные другие затруднения, неизбежные при исполнении столь обширных работ, были причиною, что работы эти не могли начаться одновременно во всей империи, но в 1858 году производились уже в большей части губерний и областей, а ныне производятся почти во всех частях России, и некоторые из них уже окончены; прочие же ведутся с различною степенью успеха». Описание Рязанской губернии составляет начало предполагаемого издания. Предисловие оканчивается словами: «Издавая последовательно в свет, по мере окончания, прочие томы «Материалов для географии и статистики России», департамент генерального штаба надеется, что труды

офицеров генерального штаба приготовят полезный материал для изучения России и послужат хорошим основанием для дальнейших географических и статистических исследований».

Мы можем прибавить, что, судя по всему, надежда департамента генерального штаба оправдается. Мы думаем так, во-первых, потому, что имели случай знать некоторых из числа офицеров, отправившихся для описания губерний; образованность и добросовестность их ручаются за хорошее исполнение возложенной на них работы, и мы уверены, что все их товарищи по этой работе имеют такие же достоинства. Вторым основанием предсказывать хороший успех делу служит первый образчик его — «Описание Рязанской губернии», составленное г. Барановичем и находящееся теперь в наших руках.

По своему специальному характеру книга эта будет прочитана всеми, конечно, в одной Рязанской губернии, а за ее границами будет читаема только специалистами. Поэтому считаем нелишним сообщить здесь ее оглавление, которое познакомит читателя с программой всего начинающегося теперь издания.

Изложив в «Историческом введении» историю края, составляющего ныне Рязанскую губернию, г. Баранович в первой главе своего описания излагает географию и топографию Рязанской губернии с большою подробностью. Во 2-й главе говорится о числе жителей, движении народонаселения, представляется очерк физических, нравственных и гражданских качеств всего рязанского населения вообще и в отдельности каждого сословия. 3-я глава содержит также очень подробные сведения о промышленности; 4-я глава — о состоянии образованности рязанского населения; 5-я глава описывает его внутренний и внешний быт; 6-я глава — управление, а 7-я глава содержит «сведения о городах и селениях и других замечательных местах вообще, и описание городов и замечательных мест в особенности». Тут, между прочим, помещен полный список «селениям Рязанской губернии, имеющим более 100 дворов», и селениям, в которых находятся «фабрики и заводы, базары и ярмарки, почтовые станции и этапные пункты, стантовые квартиры и волостные и сельские управления, монастыри, церкви, раскольничьи молельни и мечети, училища и богадельни, пристани, водяные мельницы и другие замечательные предметы».

Надобно сказать, что г. Баранович исполнил эту программу очень добросовестно. Он воспользовался всеми существовавшими пособиями для изучения Рязанской губернии и, как видно по результатам, не жалел труда при собирании личными исследованиями сведений о тех предметах, по которым существовавшие материалы оказывались недостаточны.

Мы, конечно, не можем здесь пересмотреть все содержание толстого тома, составившегося из его трудов. Остановимся лишь на очень немногих страницах книги.

Во всей средней полосе Средней России, а в особенности в подмосковных губерниях, жалуются на истребление лесов. Рязанская губерния представляет цифры, слишком хорошо показывающие быстрый ход этого зла. Со времени генерального межевания в течение 80 лет истреблена ровно третья часть лесов, существовавших тогда в Рязанской губернии. Из 3 690 021 десятины всего пространства губернии, по генеральному межеванию, лесами было занято 1 413 426 десятин, а теперь показывается в отчетах уже только 942 393 десятины леса; из этого следует, что количество земли, занятой лесом, уменьшилось на 471 033 десятины. Люди, находящие достаточным повторять бездоказательные фразы одной из экономических школ, враждебной общинному поземельному владению, прямо толкуют, не справившись с фактами, будто бы в истреблении лесов виновато наше общинное землевладение, а частная собственность сохраняет у нас леса. Мы имели когда-то случай объяснить, что это бывало до сих пор у нас как раз наоборот, — что леса, принадлежащие государству или находившиеся в пользовании у общин, сохранялись и сохраняются хорошо или дурно, но все-таки гораздо лучше, чем леса частных владельцев². Книга Барановича представляет новое подтверждение тому. Вот его слова:

Относительно пользования лесом не соблюдается никакой правильности. Казенные леса стоят почти нетронутыми и сохраняются, хотя некоторые из них, при рассчитанном обороте рубки, могли бы иметь постоянный и выгодный сбыт на чугуноплавильные и стеклянные заводы, тем более, что собственно заводские леса почти истреблены, а соседние дачи частных владельцев находятся в скудном состоянии. Что же касается до помещичьих лесов, то они, как было уже сказано, рубятся без всякого порядка. Сбережение лесов и вообще сколько-нибудь правильное лесохозяйство замечается еще у тех владельцев, которых хозяйство находится вообще в хорошем положении; но таких немного; большею же частью помещики, стараясь извлечь хотя временную, но сколь возможно большую пользу, при первом представившемся случае для выгодного сбыта продают свои леса целиком разным промышленникам с условием совершенного истребления.

Из главы о движении народонаселения мы отметим одно очень основательное замечание г. Барановича. По десятой ревизии 1858 года, в Рязанской губернии оказывался некоторый перевес числа женщин над числом мужчин; точно то же было по девятой ревизии (1850 г.)³ Между тем по сведениям о количестве рождающихся и умирающих следовало бы ожидать противоположного. Г. Баранович говорит:

Сведения, заимствованные из дел рязанской духовной консистории, о количестве ежегодно заключаемых браков, рождающихся и умирающих, имеются за несколько лет. Средний вывод из них показывает, что перевес рождения бывает всегда на стороне мужского пола. Средним числом за 14 лет родилось:

Мальчиков	— 29 127
Девочек	— 28 044
Разница	— 1 083

Следовательно, перевес рождений в пользу мужского пола довольно значителен; между тем как число умерших и мужского и женского пола совершенно одно и то же, — именно, по тем же выводам, умерло:

Мужского пола — 18 222
Женского пола — 18 239

Из этого следует, что в массе народонаселения губернии мужской пол должен быть многочисленнее женского; но на самом деле выходит совершенно противное. Причина этому ясная — убыль народонаселения от рекрутских наборов, войн, разных промыслов за пределами губернии, часто очень губительных для здоровья, касается одного только мужского пола.

Влияние последней причины, именно разных промыслов за пределами губернии, не подлежит никакому сомнению. Рязанские поселяне, уходящие на промыслы в Москву, Петербург и проч., конечно, умирают в некотором числе за пределами губернии, и эти умирающие не вносятся в метрические книги Рязанской епархии. Но не от этой причины происходит, что число мужчин в Рязанской губернии оказывалось в последние десятилетия меньше числа женщин. В конце прошлого века или в начале нынешнего рязанцы также уходили на промыслы в другие губернии, а между тем по пятой и шестой ревизиям (1796 и 1812 гг.) численность мужского пола была больше женского. По переписи 1812 года, произведенной до начала войны, в губернии было с лишком на 20 тысяч больше мужчин, чем женщин. Усиленные наборы 1812, 1813 и 1814 годов уничтожили почти весь этот перевес: по 7 ревизии (1815 г.) количество мужчин превышало количество женщин на 830 человек. В следующие годы бралось меньше рекрут, и излишек мужского населения сравнительно с женским по 8 ревизии (1833 г.) простирался до 3 850 человек. Но после того рекрутские наборы усилились, и в 1850 году (по 9 ревизии) в мужском населении сравнительно с женским оказался уже недочет в 10 тысяч человек. За 1850 год следовали годы Крымской войны, в течение которых этот недочет, конечно, еще увеличился; но в два последние года перед 10 ревизиею не производилось наборов, и потому недочет уменьшился с 10 тысяч человек до 5 тысяч человек.

Делая очерк нравственных качеств рязанского сельского населения, г. Баранович замечает в населении двух половин губернии, земледельческой и промышленной, обыкновенные черты различия, производимые разницею между неподвижным бытом земледельца и более подвижною жизнью мастерового или фабричного работника; но говорит, что независимо от этих различий есть черты, общие всему сельскому населению Рязанской губернии, — черты, принадлежащие поселянину и всех прочих великороссийских губерний. «Надежда на промысл (говорит г. Баранович) служит ему (рязанскому и вообще великорусскому поселянину) лучшим утешением в тяжкие дни невзгоды».

Повиновение к властям и доверие к обществу суть тоже отличительные его свойства. Говоря правду, примеры послушания и неповиновения довольно редки, и случаются более, как вынужденные чрезмерными требованиями или вследствие недоразумений. Крестьянин вполне доверяет обществу, среди которого живет, зная, что не обманет его, но в иных случаях жизни смотрит на многое подозрительно и недоверчиво, и в этом, конечно, нельзя обвинять русского человека, по природе доброго и простодушного (стр. 136).

Надобно отдать полную справедливость уменью г. Барановича понимать народ: каких вздоров не рассказывают о нашем поселянине люди, обыкновенно порицающие его, и даже люди, обыкновенно восхищающиеся им, — каких пустяков не рассказывают они о тех сторонах его характера, которые так верно отмечает г. Баранович в немногих приведенных нами словах. От порицателей и панегиристов русского поселянина мы обыкновенно слышим уверения, будто бы он недоверчив к людям, носящим немецкое платье. Само собою разумеется, что никакой рассудительный и опытный человек, хотя бы был поселянин или мещанин, помещик или купец, офицер или чиновник, не станет с первого же слова раскрывать вам свое сердце, высказывать вам свои чувства и надежды, не узнав предварительно, расположены ли вы его слушать и готовы ли сочувствовать ему; но человеку, одетому в какое бы то ни было платье, не только немецкое, а хотя бы грузинское или турецкое, или даже славянофильское, и не только русскому человеку, но и всякому человеку, умеющему говорить по-русски, нужно ровно столько же времени, ни больше, ни меньше, на то, чтобы сойтись с поселянином, как и на то, чтобы сойтись с русским мещанином или купцом, или просто образованным человеком. Сядьте за стол в ресторане с людьми образованного общества, сядьте за стол на постоялом дворе с проезжими мужиками, — все равно разговор ваш с соседом будет несколько минут вертеться на общих фразах, и все равно через несколько минут он будет проникнут доверчивостью или прямодушием, если вообще вы сами таковы, что можете внушить доверие человеку какого-нибудь звания. Сблизиться с мужиком человеку из образованного общества не трудней и не легче, чем сблизиться с человеком своего сословия. Но, разумеется, для этого нужно, чтобы вы находились к нему просто в отношениях доброго знакомого к доброму знакомому, а не в каких-нибудь деловых отношениях, в которых откровенность становится источником невыгод для него, — в этом опять мужик ничем не отличается от всякого другого человека: если говорить ему вредно, он будет удерживаться от лишних речей. Точно так же и купец не будет говорить с вами о своей торговле, чиновник — о своей службе, если должен будет ожидать, что извлеченные из разговора с ним сведения намерены вы обратить во вред ему. Что тут особенного? Но, говорят, трудно убедить мужика, что вы не имете намерения обратить во вред ему его доверие. Ничуть не труднее, чем всякого другого человека; напротив, даже легче, потому что он сильнее

всякого будет расположен в вашу пользу, когда в вашем разговоре с ним будет дружелюбная ласковость, без чванной снисходительности. Точно так же можно было бы перебрать одну за другой все черты, указываемые в поселянине короткими, но верными словами сделанной нами выписки: готовность слушаться всякого рассудительного совета, всякого справедливого требования и т. д. Из всех этих черт мы считаем удобным вникнуть несколько поближе только в одну, которую г. Баранович называет доверием к обществу; да и эту черту рассмотрим лишь с одной стороны — со стороны отношений великорусского поселянина к способу землевладения, обычному у нас.

Г. Баранович разделяет мнение многих наших экономистов, будто бы общинное землевладение невыгодно. Тем достовернее отзыв его о расположении великорусских поселян к общинному землевладению. Мы приведем из его книги вполне весь отрывок об этом предмете:

Земли, предоставленные в пользование крестьян, делятся между ними поровну; в казенных имениях — по числу ревизских душ, а в помещичьих — по количеству тяглов или надличных работников. У государственных крестьян дележ земли бывает обыкновенно после ревизии; после чего каждый владеет своим участком до следующей ревизии, то есть до нового раздела земель. Если же по каким-нибудь причинам в селении произошла значительная убыль населения, то, не дожидаясь ревизии, в селении делается общий передел земель между оставшимися ревизскими душами. Самый процесс дележа в казенных селениях следующий. Сперва разбивают земли на десятины и сортируют, по достоинству, на несколько разрядов. При этой сортировке принимают в расчет не одно качество почвы, но и отдельность земель от усадеб, одним словом, все выгоды и неудобства дачи. После того общество, то есть ревизские души, между которыми производится дележ, подразделяется на равные части. Части эти называются *вытями* или *службами*, и как число их, так и число заключающихся в них душ произвольно; 200 душ, например, делятся на 4 или на 5 вытей, по 50 или по 40 душ в каждой; если же в селении 203 души, то остающиеся от расчета три души называются *завытными* и наделяются землей особо. Разделившись на выти, общество по числу этих последних делит и каждого сорта землю на равные части и потом бросает жребий, какой участок земли во всех разрядах какой выти достанется. Каждая выть, получив землю, опять сортирует ее по качеству на разряды и все полученные от общества участки делит по числу составляющих ее душ, а потом решает жребием, кому каким клочком владеть.

Таким образом делятся не одни пашни, но и все угодья, за исключением лесов, выгонов, иногда и лугов, остающихся в общем пользовании. Земли, находящиеся под усадьбами, тоже разделяются по душам; но занятые дворами, огородами и садами остаются без перемены; при разделе сих последних крестьяне, по условию, вознаграждают один другого участками лучших пахотных земель, конопляников и пр.

От подобного раздела поле выходит разделенным на полосы, шириною в 2 и $1\frac{1}{2}$ саж., иногда и уже. Дробность полос часто бывает очень велика, но это не стесняет крестьян; они заботятся только, чтобы при дележе вся земля, худая и хорошая, была распределена между ними по качествам своим по возможности равномерно; если же случается, что иному не повезет и достанется дурная земля, то общество принимает в нем участие и вознаграждает его небольшими деньгами.

Подобный же способ раздела земли между крестьянами существует и в помещичьих имениях, с тою только разницею, что земля делится не по

числу душ, а по числу тягол, отчего участки делаются не так дробны и самый раздел производится проще; кроме того, в разделе земель между крестьянами принимает непосредственное участие сам помещик или поставленный им бурмистр. Общий передел земли, или перекладка тягол, вредящий крестьянскому хозяйству, делается очень редко; обыкновенно тягло владеет доставшейся ему землей долгое время; затыглые же, не имея земли, живут при семействах, помогая им или приобретая деньги на стороне. Если же тягло в деревне по какой-нибудь причине уничтожилось, то земля, им оставленная, передается по жребию или по воле помещика одному из затыглых, который с этих пор несет тягло.

В оброчных имениях помещики представляют в пользование крестьян всю свою землю и за это, по условию, получают известный оброк с тягла; в имениях же барщинных каждое тягло наделяется средним числом двумя десятинами в каждом поле и за это обязано обрабатывать такое же количество земли господской, употребляя для этого своих лошадей, упряжь и земледельческие орудия. В большей части имений земли между помещиком и крестьянами делятся поровну; в редких имениях барская запашка превосходит крестьянскую. Кроме пашенной земли, крестьяне, несущие тягло, наделяются от помещика частью лугов для сенокоса, выгоном для скота, огородом, конопляником и пр. Что касается до лугов, то они делятся так же, как и пашни, в особенности там, где их много; большею же частью раздел покосов производится каждое лето, обыкновенно когда настанет время сенокосу. Через это много терпят луга, потому что никто не заботится об их осушении и очищении.

В хозяйственном отношении подобные разделы земель имеют много неудобств. Крестьянин, не имея твердой уверенности сохранить землю, возделанную его трудами, надолго и передать ее потомству, делается равнодушным ко всем улучшениям, если польза от них предвидится только в будущем; к тому же раздробление крестьянского хозяйства в виде клочков земли, разбросанных в разных местах, чрезвычайно затрудняет ведение правильного хозяйства. Но тем не менее эта система раздела справедлива по совести; крестьянин доволен ей и не тяготится ее недостатками, которые устраняет, по мере возможности, своим практическим умом и доверием к обществу. При дележке случаются иногда ссоры и неудовольствия, но редко были примеры, чтобы крестьяне обращались к властям с просьбою рас судить их в дележке земли.

Из всего этого мы видим, что единственная практически невыгодная сторона общинного землевладения в Рязанской губернии — обычай брать участок не одним целым куском в каждом поле, а дробить землю каждого поля на столько разных частей, сколько есть разных сортов земли, и давать каждому по полосе в каждом из таких участков, так что подушный участок в каждом поле составляется из нескольких разбросанных полос, очень мелких. Но это неудобство не имеет никакой связи с общинным землевладением: при существовании частной собственности земля одного поселянина также может состоять из множества разбросанных мелких кустов, как и видим мы во Франции, где семейство поселян, владеющее землей, имеет свою землю раздробленную средним числом на 23 или 24 клочка, лежащие врозь друг от друга. При частной собственности эта вредная раздробленность никак не может быть устранена без очень резких принудительных мер и, даже будучи раз истреблена, тотчас же стала бы возникать вновь. Земли одного владельца никак нельзя со-

брать в один кусок без принудительного обмена или принудительного отчуждения и округления административным путем. Но раз собравшись в одно место, поземельное имущество сельской семьи тотчас же вновь стало бы получать вид прежней разбросанности от разных дроблений одного куска и соединений в одни руки разных полос разных кусков через продажу, наследство и переход в приданое. Вредная разбросанность клочков лежит в самой натуре такого поземельного устройства. Но при общинном землевладении разрозненность клочков бывает лишь следствием того, что поселяне не замечают вреда в ней, то есть существует лишь в таких обстоятельствах, при которых не очень важен приносимый ею вред, и исчезает, как скоро становится тяжела для поселян. Из Гакстгаузена мы знаем, что во многих местах, где неудобство разбросанных полос стало чувствительно, поселяне наши уже перешли к другому способу делить участки по душам, — к способу, при котором никогда невозможно явиться вредной разбросанности полос⁴. Вместо того, чтобы давать в каждый подушный участок полосу каждого сорта земли, поселяне определяют относительное достоинство каждого сорта земли и достигают одинаковости подушных участков тем, что одну десятину лучшей земли полагают равняющеюся, например, $1\frac{1}{4}$ десятины земли второго сорта и, быть может, целым трем десятинам самой худшей земли. При таком способе нарезывания подушных участков каждый участок состоит из одного куска в поле, и раздробленности уже никакой нет и быть не может. Если рязанские поселяне еще не поступают таким образом, это просто значит, что дробление на полосы еще не составляет для них чувствительного неудобства. Г. Баранович говорит, как о следствии общинного владения, еще о другом факте — о том, что они плохо удобряют землю; но это происходит от совершенно иной причины, как мы увидим сейчас.

Впрочем, мы замечаем все это лишь мимоходом. Здесь не место повторять мысли, давно и очень обширно изложенные в «Современнике». Дело для нас теперь в том, что г. Баранович, не будучи расположен к общинному землевладению, прямо свидетельствует, однако, что «крестьянин доволен этою системою», «не тяготится» теми следствиями ее, которые г. Баранович называет недостатками и которые скорее надобно назвать просто различиями ее от системы частной собственности. Мало всего этого: сам г. Баранович признается, что «эта система раздела справедлива по совести».

Известно, что у нас довольно плохо удобряются поля в большей части тех губерний, земля которых требует удобрения. Есть люди, столь богатые воображением и привычные повторять без всякого соображения тирады из плохих французских книжек, что приписывают это обстоятельство общинному землевладению. Гораздо проще объяснить его тем, что наши поселяне бедны и

не могут обзавестись достаточным количеством скота, а помещики также почти все издавна обременены долгами и по нерасчетливости не могли заняться хозяйством как следует⁴. О количестве и содержании скота у поселян Рязанской губернии г. Баранович сообщает нам следующее:

Уход за скотом самый небрежный: скот никогда не чистится и не моется, солома бросается под ноги с целью увеличения навоза, а не для того, чтобы доставить скоту сухую подстилку. С приготовлением питательного корма и питья, а также с употреблением средств, предохраняющих скот от болезней, крестьяне почти незнакомы; воспитание молодых животных самое противоположное, отчего большая часть их умирает; наконец для улучшения пород ничего не делается; крестьяне нисколько не заботятся о том, чтобы общими силами приобретать хороших быков для стад своих. Самое распложение животных предоставлено природе; плодятся начинают они прежде, чем достигнут полного развития, отчего получается слабый и болезненный приплод, и порода с каждым поколением становится слабее и слабее.

Очевидно, что при таком хозяйстве нельзя ожидать от скота больших выгод. Главная цель содержания скота: получение навоза и на летнее время молока. Мясная пища почти неизвестна крестьянам, в городах же продовольствуются пригонным скотом из губерний Воронежской, Тамбовской и Земли Войска Донского. Масло получается в малом количестве, и редко можно найти такие хозяйства, в которых бы оно шло в продажу и составляло предмет дохода. Одним словом, рогатый скот держат крестьянами только для того, чтобы запастись навозом и пропитать себя молоком; но так как кормовые средства весьма недостаточны, то крестьяне содержат самое ограниченное число голов; в большей части семейств можно найти одну, две и весьма редко три коровы; так что и единственная цель содержания рогатого скота — накопление навоза — далеко не достигается.

Но, разумеется, смешно было бы ожидать, чтобы поселянин доставлял своему скоту пищу лучше той, какую имеет сам, или устраивал жилища для скота теплее, чище и удобнее, чем в каких живет сам. Мы возьмем из книги г. Барановича следующие очень верные заметки о пище и жилищах рязанских поселян:

Обыкновенно пища крестьян весьма проста и однообразна: ржаной хлеб, щи и каша составляют повседневный обеденный и ужинный их стол, с тем только различием, что последней часто не бывает. Ржаной хлеб отличается хорошим качеством; иногда только от небрежного квашенья и печенья делается неудобоваримым; в праздник пекут из ржаной муки с примесью пшеничной так называемые пироги и лепешки. Щи, как в постные, так и в скоромные дни, варят из квашеной капусты без всего, с тем различием, что в скоромные прибавляют в них иногда сала или сметаны, или просто молока; о заправе щей мукой, маслом и крупами не многие имеют понятие, и потому они выходят жидки и невкусны, вполне суровые. Каша бывает гречневая, пшенная и просяная, молочная и с постным маслом или толченым конопляным семенем во время постов; употребление каши уже служит признаком некоторого довольства; что же касается до мясной пищи, то это большая редкость крестьянского стола и допускается только в важные праздники. Рыбы в местах, отдаленных от рек, употребляют еще менее; в общем употреблении она только в последние дни масляницы, в зимний Николин день и в праздник Благовещения. Рыба употребляется соленая: белужина и севрюжина, и свежая: плотица, окунь, ерш, пискарь, язь, карась, иногда щука и лещ, вообще породы мелких рыб, которыми изобилуют озера и реки губернии. Овощи в малом употреблении, по причине отсутствия у крестьян

хороших огородов; картофель, который мог бы служить весьма питательной и вкусной принадлежностью крестьянского стола, еще не в общем употреблении; его не везде разводят и притом в количестве недостаточном; еще менее можно встретить горох, свеклу и огурцы; только капуста в большом ходу, а также лук и редька в постные дни. Других овощей крестьяне почти не знают; фрукты идут в продажу; а в северных уездах об них не имеют и понятия. Грибы в большом употреблении, без них трудно обойтись крестьянину в постные дни; но ягоды собираются только для продажи; разве дети воспользуются иногда случаем полакомиться ими, и притом не разбирая, зрелы ли они или незрелы, от чего всегда в то время, когда успевают ягоды и фрукты, существуют болезни желудка и поносы.

Молочная пища употребляется мало; молоко и сметана служат более для приправы щей и каши; кислое молоко едят иногда, но более делают из него творог, который так же, как и яичница, подается к столу более по праздникам. С другим приготовлением пищи крестьяне незнакомы, разве блины делают в этом случае исключение; их едят обыкновенно на маслянице, иногда же и в другие дни. В большие праздники и в особенности на масляной количество съедаемой пищи, можно сказать, удваивается, вследствие чего являются и вредные последствия невоздержания; но есть времена в году, когда, напротив, крестьянин, даже исправный в хозяйстве, голодает; и самое голодное для народа время, бесспирно, Петров пост; в это время овощи еще не созрели, а заготовленная впрок капуста бывает на исходе, так что обыкновенным кушаньем в этот пост бывает квас с зеленым луком и огурцы, если они успели. К довершению всего часто у крестьян к этому времени недостает даже хлеба, и он прибегает к займам или для насущного пропитания молотит рожь еще незрелую.

Жилище поселенца, состоящее из разных построек, представляет всегда фигуру четверугольника, более или менее продолговатую. Главное строение есть изба, стоящая обыкновенно лицом на улице; в одну линию с нею — ворота, потом амбар или плетень; по бокам и с заду — бани, погреба, конюшни, хлев, загороды для скота и разные другие пристройки. Амбары не всегда находятся в черте прочих строений; есть много деревень, особенно в южных уездах, где амбары стоят отдельно через улицу и за двором.

Жилые строения состоят обыкновенно из двух изб или срубов, стоящих большею частью без фундамента и соединенных между собою холодными ссями. Одна изба (теплая) назначается для житья, а другая есть клеть, в которой хранится посуда, провизия, одежда и прочее имущество, а летом в ней живут. Впрочем, это главное строение крестьянина весьма разнообразно в своих формах; иногда вместо клетки ставится другая изба с печкой; гораздо же чаще встречаются крестьянские дома, состоящие из одной лишь избы и холодных сеней, где устроен небольшой чулан вместо клетки. На севере губернии избы строятся выше и разделяются дурно сколоченным полом горизонтально на две половины, из коих в верхней живут, а нижняя заменяет клеть и называется подполиця. В уездах Данковском, Скопинском, Пронском и других западных клеть называется горницей, а иногда горенкой.

Размеры избы соразмеряются с величиной семейства. Обыкновенно изба составляется из 15, 20 и более венцов; таким образом средняя высота ее выходит от 4 до 6 аршин. Вообще можно сказать, чем севернее, тем избы выше; но ширина и длина их везде одинакова и заключают от 6 до 9 аршин. Если взять избы средней величины, то она вмещает в себе пространство в 144 кубических аршина; в каждой избе, в сложности, живут по восьми человек; следовательно, каждый пользуется пространством, имеющим в длину и ширину три, а в высоту два аршина; если же принять в соображение все принадлежности избы и домашнюю скотину, которая в течение зимы постоянно в ней толкается, то можно составить себе понятие о тесноте крестьянских жилищ. Главная принадлежность избы есть русская печь, сбитая большею частью из глины и в деревянной оправе или сложен-

ная из кирпичей; она лежит на деревянном *опечике*, устроенном в углу, подле двери, и занимает обыкновенно шестую часть избы. Русская печь не вполне удовлетворяет своему назначению; если она с трубой, то приспособлена более для печения хлеба и для приготовления пищи, чем к нагреванию избы. Крестьяне это ясно видят, и вот причина, почему они избегают печей с трубами, желая некоторым образом устранить их недостатки другим неудобством, более удовлетворяющим назначению печи в зимнее время, то есть нагреванию избы. Известно, чем долее горячий дым, посредством поворотов в трубе, задерживается в печи, тем более она дает теплоты, и на этом основывается превосходство курных изб перед белыми; кроме того, курные избы удобней, потому что сухи; напротив, избы с печными трубами в зимнее время всегда сыры, потому что печь не в состоянии нагревать надлежащим образом стены, и они мокут, осаживая влажность в воздухе. Крестьяне жалуются также, что избы с трубами угарны; если угаром назвать всякое испарение или отделение газа, действующее вредно на организм, то весьма естественно, что в избах, где живет домашняя скотина и находится в брожении приготовляемая пища и питье, где нечистота от людей, скота и домашних птиц, всеобщая неопрятность, везде развешено для сушки белье, платье и пр., а кругом заплесневшие гнилые стены, то в этих избах должен быть угар, и в этом случае дым, как средство против гнилости, уничтожает его и очищает избу, унося с собой вредные испарения, ибо при топке печи обыкновенно отворяются двери.

Все это причиной, что крестьяне до сих пор не оставляют курных изб; даже топят по-черному там, где устроены печные трубы. Только старание о соблюдении чистоты, отсутствие скота и печь, хорошо сложенная из кирпича и большого размера, позволяют хозяину вполне пользоваться теми выгодами, которые доставляет белая изба с трубой.

Исчисляя выгоды курных изб, нельзя, однакож, не признать их весьма неудобными; они действуют губительно на здоровье своею атмосферой, наполненною дымом и чадом, неровною температурою и сквозным ветром во время топки. По закрытии дымового окна, изба бывает тепла; но зато утром температура почти равняется уличной.

Все это вещи, очень давно и очень хорошо известные каждому, кто сколько-нибудь интересовался бытом великорусских поселян. Каждому из таких людей не менее известны и причины такого положения. Но г. Баранович излагает дело таким спокойным тоном, что едва ли у кого-нибудь достанет смелости обвинить представляемый им отчет в преувеличении. Думаем, что следующие места, приводимые нами из его книги, не нуждаются в комментариях, как, вероятно, не нуждаются и предыдущие отрывки. Мы ограничимся тем, что выпишем их.

Говоря о недоимках, лежащих на государственных крестьянах, г. Баранович делает такое объяснение:

Одно важное обстоятельство необходимо должно было иметь влияние на состояние недоимок у казенных крестьян, это — учреждение палаты государственных имуществ. Не утверждая, в какой мере это учреждение способствовало или препятствовало успешному взносу податей, представим состояние недоимок до открытия палаты государственных имуществ и после сего. Эти сравнительные выводы покажут следующее:

при учреждении палаты в 1839 году подушной и оброчной недоимки считались	110 948 р. с.
а к 1856 году	768 796 » »

Следовательно, недоимка увеличилась на 657 848 р., то есть в семь раз. Наконец есть еще одно зло, сильно ослабляющее народную нравствен-

ность и благосостояние и служащее главнейшею причиною накопления недоимок: это пьянство — порок, тем более возбуждающий сожаление, что пагубные следствия оного усиливаются разными посторонними обстоятельствами.

Число кабаков, пропорционально количеству душ, в селениях государственных крестьян в пять раз больше, чем в помещичьих селениях. Но многочисленность эта не должна считаться следствием желания самих государственных крестьян: они, по свидетельству г. Барановича, «ходатайствуют о выводе питейных домов из своих селений» (стр. 416).

О помещичьих крестьянах и о помещиках мы не будем говорить ничего, довольствуясь только одною краткою выпискою о тех и другою, столь же краткою, о других. Из крестьянских повинностей мы заметим слова г. Барановича только об одной обзной:

Летние обязательные работы состоят в разных полевых занятиях по земледелию; зимние же — в молотбе и возке помещичьего хлеба на продажу, к местам сбыта. Эта возка составляет одну из обременительных статей барщинных обязанностей и совершается часто в отдаленные места; в уездах Раненбургском и Данковском каждое тягло обязано делать от двух до трех обозов в зиму, за 350 верст каждый; в Пронском и Михайловском — такое же количество обозов в Москву, на расстояние от 200 до 280 верст; в Зарайском — по три обоза в Москву и по шести к Илье пророку (Московской губернии, Богородского уезда) и пр.

О состоянии помещиков Рязанской губернии можно судить по способу, каким продают они хлеб.

Заподряды хлеба у помещиков делаются в декабре или январе месяцах, когда обыкновенно цены стоят выгоднейшие; иногда заподряды эти делаются и ранее, но всегда принимаются в расчет цены январские, и по ним совершается расплата. Случается, что хлеб покупают даже на корню и деньги выплачиваются вперед, но при этом заключается условие, что противу цен, которые будут в январе, помещик должен сделать уступку на 15 и более процентов.

Купец, покупая у помещика хлеб, дает ему задаток; чем выгоднее сделана покупка и чем настоятельнее требование на хлеб, тем более платится задаток, так что величина задатка определяет и самую степень выгодности торговли; впрочем, при значительном заподряде в задаток дается обыкновенно половина всей суммы; иногда же платятся и все деньги, но при этом делается в пользу купца уступка.

Читатель, конечно, понимает, что выгоднейшими ценами называются здесь выгоднейшие для купцов, то есть самые низкие. Таким образом помещики Рязанской губернии, по расстроенности своих дел, принуждены продавать хлеб по самым убыточным ценам, да и из этих цен делать купцам значительную уступку для получения денег вперед. Надобно помнить, что г. Баранович говорит о положении дел в годы, предшествовавшие началу так называемого крестьянского вопроса⁵. Вообще он говорит, что хозяйственные дела помещиков Рязанской губернии находились тогда в самом неудовлетворительном виде.

Закрывая его книгу, мы должны сказать, что часто и очень часто будут ссылаться на нее все занимающиеся статистикою

России. Г. Баранович заслуживает полной признательности за свой прекрасный и добросовестный труд. Надобно желать, чтобы и следующие томы полезного издания, предпринятого департаментом генерального штаба, походили на описание Рязанской губернии.

Экономическая библиотека. — Промышленные предприятия.
*Курсель-Сенёля*¹. Перевод с французского, изданный под редакцией В. Вешнякова. С.-Петербург. 1860 г.

Зачем написана Курсель-Сенёлем книга, переведенная теперь на русский язык, и зачем переведена она на русский язык, этого разобрать никак нельзя; но так как она уже написана и переведена неизвестно зачем, то надобно похвалить ее. Да и как не похвалить? В предисловии к русскому изданию мы читаем, что о достоинствах ее «свидетельствуют достаточно как два издания ее на французском языке, следовавшие одно за другим на расстоянии двух лет, так и благоприятные отзывы, которыми она была встречена при первом появлении своем не только французскими, но и русскими журналами».

Мы согласны с этими журналами, что книга хороша, только все-таки думаем, что не стоило ни писать, ни переводить ее. Читателю могут показаться странными такие слова. Но пусть припомнит он знаменитую статью «О сухих туманах», когда-то порадовавшую читателей покойного «Атенейя»². Кто мог сказать, что статья эта нехороша? кто мог сказать, что следовало ее печатать? Мы помним, что по случаю этой статьи было даже составлено оглавление к книжке «Атенейя», которая будто бы должна содержать следующие статьи:

О переходных породах от девонской деформации к юрской в графстве Ланкастерском;

О спинном хребте африканского строфокамила;

Температура воды в глубине Адриатического моря;

Идеализм и реализм в стихотворениях г. Пилянкевича, или г. Пилянкевич как идеалист между реалистами, и т. д. и т. д.

Для успешного ведения торговых, фабричных и земледельческих предприятий необходимо знать и соблюдать известные экономические правила, например: покупать материалы не без разбора, вести счета свои в порядке, не делая напрасных расходов, заниматься делом прилежно, предварительно позаботиться о приобретении нужных для него сведений и прочее. Скажите, пожалуйста, надобно ли писать книгу для разъяснения этих условий, необходимых для выгодного ведения дел? Если надобно, отвечайте мне скорее, потому что в таком случае я не замедлю написать еще несколько подобных книг. Одну книгу я напишу об условиях, нужных для того, чтобы сделаться хорошим чинов-

ником: тут будет говориться, что чиновник должен выучиться правильному письму, старательно изучить формы делопроизводства, быть усерден в должности и т. д. Другую книгу я напишу об условиях, нужных для учителя: тут будет говориться, что учитель должен быть хорошо знаком с своим предметом, посещать классы аккуратно и т. д. Но очень может быть, что такие книги были бы совершенно лишни. Кому из людей, занимающихся или желающих заняться преподаванием или чиновничеством, неизвестны все азбучные истины, которые составляли бы содержание таких книг? Вот точно такова и книга об условиях, нужных промышленному предпринимателю.

Но в свою книгу об условиях, нужных чиновнику, я мог бы, кроме азбучных правил, напихать множество разных отрывков из свода законов и разных юридических книг. Отрывки эти могли бы каждый в отдельности иметь смысл. Не имело бы смысла только нанизывание их на нитку, ровно ни к чему не пригодную. Точно так же поступил и Курсель-Сенёль: из французских кодексов и политико-экономических книг набрал он всего, что попало ему под руку, нанизал все эти отрывки, куда какой пришелся, и вышла книга, не лишенная страниц, любопытных для того, кому не удалось иметь в руках книг, составленных по плану более разумному. Например: двойная бухгалтерия знание очень хорошее, очень важное; если вы хотите научиться двойной бухгалтерии, вы возьмете какое-нибудь руководство к ней. Если вы не хотите учиться ей, вы прочтите главу «Основания устройства счетоводства» в книге Курсель-Сенёля, — вы вполне достигнете своей цели: двойной бухгалтерии не выучитесь, а часа два или три убьете на перевертывание страниц, потому что выдержки из руководств к двойной бухгалтерии занимают у Курсель-Сенёля очень много страниц, чуть ли не до сотни. Или вот еще хорошая вещь — французские коммерческие законы. Если вы хотите изучать французское торговое право, вы возьмите какое-нибудь руководство по этому предмету; а в книге Курсель-Сенёля написано о нем гораздо больше страниц, чем нужно для человека, не желающего торговать во Франции или специально заниматься коммерческим правом, и несравненно меньше, чем нужно для французского промышленника или для специалиста. Словом сказать, книга Курсель-Сенёля — нечто вроде книжек, какие в старину издавались под названиями «Красоты Локка» или «Дух Стерна» или «Избранные отрывки из Гольдсмита» — книжек, в которых есть разные половинки и четверти разных глав, не дающие вам никакого понятия ни о чем, но очень недурные.

Презабавно читать на втором листе книги подробное заглавие: «Руководство к теоретическому и практическому изучению предприятий промышленных, торговых и земледельческих. Не менее забавно читать наивное «предисловие автора», говорящего в таком роде:

Сближения экономических истин с фактами, подмеченными опытностью просвещенных предпринимателей в торговле, в мануфактурной промышленности и в земледелии, достаточно, чтобы дать полезное содержание целой книге, в которой бы практические правила были поверены, подтверждены и выражены теоретически, книге, которая бы указывала начинающим предпринимателям, или помогающим еще только звания главы предприятия главные течения и подводные камни того океана, в который они пускаются. Подобная книга может научить даже практиков, которые, занимаясь делами с детства, не имели довольно времени для размышления, чтобы составить себе теорию. Наконец она может служить и людям светским, любящим науку, умам пытливым, которые, стоя вне дел, хотят, однакоже, знать их дух, обычаи, потребности, смысл и общественное значение.

Курсель-Сенёль хочет учить практиков, как им выгоднее вести свои дела, — да разве этому можно научиться из книг? Это все равно, что учиться из книг благоразумию, опытности, твердому характеру, бережливости. Другое дело технические сведения: они действительно могут быть пополняемы, расширяемы книгами, но уж никак не книгами политико-экономического содержания, а разве курсами технологии, агрономии, руководствами к выделке кож или к воспитанию шелковичных червей, к устройству прядильных фабрик или свеклосахарных заводов и т. д. Курсель-Сенёль хочет «служить и людям светским, любящим науку, умам пытливым», но ведь такие люди, с такими умами, станут читать курсы политической экономии или исследования о положении промышленности, станут изучать или теорию, имеющую какой-нибудь смысл, или факты, имеющие какой-нибудь смысл, — такие люди нимало не нуждаются в компиляциях, составленных из разнородных обрывков разных знаний.

Само собою разумеется, что не стоило бы говорить о такой ничтожной книге, если бы она являлась просто отдельною книгою. Но на обертке ее выставлено: «Экономическая библиотека»; из этого надобно заключать, что рассматриваемая нами книга служит началом целого ряда томов³. Мы хотели предупредить издателя или издателей «Экономической библиотеки», что в выборе сочинений для перевода полезна была бы им разборчивость.

О судоустройстве. Соч. Бентама. По французскому изданию Дюмона изд. А. Книрим. С.-Петербург. 1860 г.

Эта небольшая книга — отдельное издание перевода, помещенного в «Журнале министерства юстиции», который хорошо сделал, приняв на свои страницы такое сочинение. Император Александр I советовался с Бентамом и поручал обращаться к нему за советами лицам, занимавшимся тогда в России кодификацией законов.

Мы не будем излагать здесь ни всей системы юридических теорий Бентама, ни частной его теории судоустройства и обратим

внимание лишь на один из многих вопросов, которых он касается в трактате, переведенном теперь на русский язык. Мы хотим сказать о том, справедливо ли ссылаются на авторитет Бентама те юристы, которые не расположены в пользу суда присяжных.

Очень часто бывает, что известные средства, необходимые для достижения известной цели при известном устройстве человеческих отношений, оказывались бы не нужны, неудовлетворительны при лучшем устройстве отношений, в котором та же цель достигалась бы другими средствами, или более быстрыми, или менее обременительными. Так, например, в средние века единственным средством обеспечить хотя некоторое правосудие в известном округе или городе, доставить его жителям хотя некоторую возможность добиваться справедливости, ограждать себя от беззаконных насилий — было предоставление этому округу или городу независимости от всякой высшей власти в суде над его жителями. В Западной Европе давались городам такие же привилегии, какие известны у нас были под именем бессудных или несудимых грамот¹. Таким образом город Ульм или город Нюрнберг получал право исключительного суда по делам своих граждан, и на этот суд уже не было никакой законной апелляции, никто не мог законным образом спрашивать у граждан Ульма или Нюрнберга отчета в том, когда они присуждали своего согражданина к потере имущества, к тюремному заключению или к смерти. Никто не мог законным образом заступиться за осужденного, хотя бы процесс его был решен с явною несправедливостью, по мелочному местному неудовольствию на него или по злобе какого-нибудь влиятельного горожанина. Представим себе, что в те времена, во время феодальных насилий, явился юрист, возвысившийся своими понятиями над тогдашним положением дел и дошедший до ясного представления о юридической системе, подобной порядку дел, существующему теперь в Бельгии или Швейцарии. Конечно, в его системе не было бы места безапелляционному городскому суду, — он стал бы доказывать, что судебная власть должна быть одна для целого народа, все государство имеет право и обязанность защитить невинного человека от несправедливого наказания, к которому приговорил его какой-нибудь отдельный суд по пристрастию или незнанию. Но если такой юрист выставлял бы судебный идеал, гораздо высший существовавшего тогда порядка, то можно ли было бы говорить, что при существовавшем тогда порядке он не признавал полезности безапелляционного городского суда и расположен был предпочитать такому суду другие тогдашние формы суда, еще гораздо менее соответствовавшие его идеалу? Конечно, нет; конечно, этот юрист понимал, что из форм, низших его идеала, форма безапелляционного городского суда несравненно лучше других.

Нечто подобное было с воззрением Бентама на суд присяжных. Он составил очень высокий проект судоустройства, такой

высокий, что очень многие из нынешних наилучших гарантий справедливого суда заменялись в его проекте другими, более простыми и верными. Довольно будет сказать, что по этому проекту уничтожалась разница между гражданским и уголовным судом; все различные юрисдикции сливались в одну. Этот единственный для всех разрядов дел суд рассматривает дела по кодексу, нимало не похожему ни на один из существующих ныне кодексов, — по кодексу, чрезвычайно краткому и простому, так что каждый взрослый человек мог бы знать все действующие законы и все формы судопроизводства. При таких законах, при таком судопроизводстве можно было, по мнению Бентама, обойтись без присяжных, потому что вся публика была бы чем-то похожим на собрание судей, перед глазами которых действует собственно так называемый судья, знающий, что каждому из присутствующих будет видна каждая натяжка в ведении дела, и немедленно наказываемый за малейшее отступление от правды. При таком идеальном порядке учреждение особенных присяжных, конечно, становилось излишнею формальностью. Но ошибочно было бы думать, что недостатки или неудобства, оказывавшиеся, по мнению Бентама, в суде присяжных сравнительно с идеальным судостроительством, проектированным у Бентама, могут иметь важность при сравнении суда присяжных с другими, действительно существующими формами судостроительства: при такой норме сравнения оказывается, что каждый недостаток суда присяжных принадлежит в большей степени каждой иной форме судостроительства, и каждая иная форма имеет, кроме того, много недостатков, от которых свободен суд присяжных. А та идеальная форма судостроительства, которую проектировал Бентам, неосуществима при нынешних законах и нравах ни в Англии, ни в Швейцарии, ни в Северной Америке, не говоря уже о других странах. Таким образом с практической стороны даже и передовым нациям остается выбор только между судом присяжных и формами судостроительства, далеко уступающими ему во всех отношениях. Лучше всего объясняет это сам Дюмон, издавший сочинение Бентама «О судостроительстве». Читатель знает, что Бентам скучал приведением в порядок своих рукописей, и потому некоторые из его трактатов были изданы в редакции, принадлежавшей не ему, а его другу, женеvскому гражданину Дюмону². К числу таких трактатов принадлежит и сочинение Бентама о судостроительстве. Дюмон издал его по черновым бумагам Бентама и прибавил во многих местах свои замечания, из которых самое обширное и важное — о суде присяжных. Приводим здесь эти страницы:

Бентам в своих последних взглядах на судостроительство не допускает присяжных, даже в делах уголовных.

Противники учреждения суда присяжных, а их еще много, не упустят случая воспользоваться его авторитетом. «Вы видите, — скажут они, — публициста, которого нельзя обвинять в пристрастии, юриста, воспитанного в

предрассудках страны, в которой привязанность к этому роду суда доходит до энтузиазма; вы видите, как он постепенно перемещает свои мнения о суде присяжных, как он сначала ограничивает круг их действия только немногими случаями и, наконец, совершенно отвергает их. Непопулярность этого парадокса не устрашает его, он видит в этом учреждении недостаток отправления суда, свойственный векам тирании и варварства, но долженствующий исчезнуть при гарантиях созревшей цивилизации».

Не спешите торжествовать, — скажу я противникам суда присяжных. — Если Бентам не питает к этому учреждению того же доверия, как самые просвещенные публицисты, то это не потому, чтобы он не создавал его достоинства в сравнении со всеми известными родами суда, или чтобы он не видел в нем палладиума британской свободы и в особенности свободы печати, без которой всякая другая свобода не может долго существовать. Он думал только, что при устройстве суда, которому не нужно защищаться от произвольной власти, а только применять известные законы, которых кодекс в руках всех граждан, можно найти гарантии более простые, более действительные, менее подверженные ошибкам, нежели гарантии, представляемые этими минутными судьями. Он не хочет дать менее средств для охранения общественной и частной безопасности, он предлагает удвоить гарантии, а не ослабить их. Если противники суда присяжных, отвергнув эту учреждения, примут вполне систему Бентама, то нельзя опасаться, что это поведет их к победе. Но если они выставляют его знамя на судах, совершенно различных от его судов, то они употребляют во зло его имя, и я могу сравнить их с шарлатанами, которые, подделывая лекарства по рецепту искусного медика, выпускают предохранительные средства, заключающиеся в его рецепте, и продают под его именем яд, составляющий их произведение.

Главное достоинство суда присяжных заключается в том, что он представляет более ручательств хороших судебных решений, нежели постоянные судьи. Я приписываю ему это качество на основании четырех следующих соображений.

1) Он представляет лучшее ручательство беспристрастия. Не только весьма вероятно, что при существовании отводов присяжные чужды обвиненному, но очень часто они чужды друг другу и судьям, так что между ними нет ни потворства, ни тайной связи. Если бы и существовал у одного или двух тайный источник пристрастия, то его действие потерялось бы в массе.

Присяжные, взятые из среднего класса, находятся в отношениях равенства с лицами, подлежащими их суждению; они не могут иметь иных интересов, кроме поддержания общих прав и защиты невинности. Так как каждое решение составляет для этих временных судей важное и торжественное действие, образующее эпоху в их жизни, то они естественным образом употребляют все внимание, всю предусмотрительность, к которым они способны.

Не вдаваясь в преувеличения, граничащие с сатирой, должно признать в принципе, на основании общих наблюдений, почерпнутых в знании человеческого сердца, что постоянные судьи не могут быть в той мере свободны от пристрастия, как временные, случайные судьи. Без сомнения, они будут беспристрастны в большей части случаев, но тем не менее всегда будут встречаться такие случаи, в которых прязнь или неприязнь, интересы более или менее отдаленные, предубеждения, действующие даже тайно, будут иметь влияние на их решение. Я не говорю о случаях подкупа или преступного пристрастия, хотя история судов представляет многочисленные тому примеры, но самое положение судьи заключает в себе опасность для правосудия. Это не парадокс, не острога, а факт. Очень часто было замечено, что отпавший долгое время судейские обязанности является другим человеком, нежели каким он был в начале своего поприща. Привычка видеть и уличать виновных внушает служителям закона общее предубеж-

дение против обвиненных и располагает их обвинять на основании предположений, полудоказательств, с поспешностью, которая всегда бывает подозрительна, даже и тогда, когда не влечет за собою ошибок.

II) Вторая важная гарантия, которую представляет суд присяжных, состоит в независимости, то есть в независимости от административной власти. Это — видоизменение беспристрастия, но должно быть от него различаемо, потому что применяется к особым случаям, в которых обвиненные должны защищаться против какой-нибудь могущественной вражды, против какого-нибудь обвинения, касающегося не общих интересов общества и правительства, а личных интересов правительственных органов, например, когда дело идет об открытии их злоупотреблений. Для сопротивления злоупотреблениям власти необходимо не простое беспристрастие, а гражданское мужество; и от кого скорее можно ожидать этого мужества, как не от граждан, которые не имеют никакого сношения с министерством и между которыми нельзя найти никаких общих опасений или надежд, чтобы воспользоваться ими с целью навязать им известное мнение? Допустим даже возможность недобросовестности или трусости присяжных, — администрация ничего этим не выигрывает: та нить, которую она сплетает, рвется при каждой сессии, при рассмотрении каждого дела. В делах политических эта гарантия является в самом выгодном свете; и между политическими делами — дела, касающиеся свободы печати, всегда разнообразные, всегда трепещущие современным интересом, — суть те, в которых общественный интерес в особенности требует участия присяжных.

Скажут, что несменяемые судьи столь же независимы, как присяжные. Без сомнения, им нечего опасаться отставки, но разве они свободны от надежд на повышение и на милости для себя и для своих семейств? Избавляя их от страха перед правительством, их избавляют также от необходимости искать поддержки в общественном мнении, делаться сильными народною любовью. Мы допустим, что эти обыкновенные искушения не будут иметь влияния на людей честных; разве нет более утонченных искушений, заключающихся в предрассудках высших классов, в этом естественном союзе между всеми, пользующимися какою-либо частью власти, в этом общем интересе шадить друг друга? Безопасность, представляемая определением в законе преступления клеветы, будет всегда недостаточна или по трудности определить пасквиль, или по трудности судить о намерении, преступность которого зависит от обстоятельств.

Если нет суда присяжных для рассмотрения нарушений законов о печати, то в государстве существует власть или сословие, которого действия выше всякой критики и которое призвано судить все печатное; всякое порицание его составляет преступление; оппозиция не имеет гарантий. Ни интерес правительства, ни интерес народа не требует этой независимости судей, подверженных тем же страстям и тем же ошибкам, как и прочие люди.

III) Третья гарантия, представляемая судом присяжных, состоит в том, что каждое дело достигает достаточной степени зрелости, что соблюдаются все те охранительные формы, которые весьма легко могут быть опущены или искажены при малейшем легкомыслии, поспешности или пристрастии судей. Между этими формами самая полезная заключается в постоянном различии факта от вопроса права. В соблюдении же этого различия заключается существенное достоинство суда присяжных. Правда, что и постоянные судьи при гласности и устных прениях необходимо должны следовать по тому же пути; но тем не менее учреждение суда присяжных в этом отношении имеет преимущество, что доказывается двумя следующими соображениями:

1) Судья обращает более внимания на подробности дела, когда он обязан изложить его присяжным, нежели когда он делает это для самого себя. Большие упущения в допросе свидетелей могли бы пройти незамеченными; но когда все происходит пред присяжными, из которых каждый имеет право делать замечания, то нельзя предаваться ни дремоте скуки, ни лености.

2) Нравственная ответственность судьи в отношении решений о факте не так велика, даже при гласности, как можно было бы предполагать. Он все еще может быть пристрастным или в выборе свидетелей, или в способе их допроса, и этого пристрастия нельзя заметить или, по крайней мере, нельзя доказать, исключая случаев самых вопиющих злоупотреблений.

При рассмотрении очень запутанного дела, продолжающегося целый день или даже несколько дней, кто из несогласных с решением судьи осмелится утверждать, что он вникнул во все обстоятельства дела, что он не упустил ничего существенного в изложении фактов? Кто осмелится обвинять судью, что он действовал против своего убеждения или даже упрекать его в поспешности или небрежности?

При присутствии присяжных почти нельзя предположить активного пристрастия со стороны судьи. Во-первых, потому, что оно всегда будет довольно заметно для возбуждения, по крайней мере, подозрения, и в особенности потому, что оно будет всегда бесполезно, так как решение от него не зависит. Когда же факты приведены в ясность, когда они просеяны, если можно так выразиться, главное уже сделано и остающееся лишено важности: судья, которому предоставлено пассивное применение закона, почти не может от него уклониться.

IV) Последняя гарантия, которую представляет суд присяжных, заключается в их особенной способности хорошо обсуждать фактические вопросы, — способности, которая не встречается в такой же степени в постоянных судьях. Сначала это кажется парадоксом, потому что, повидимому, большая проницательность находится на стороне науки и продолжительной судебной практики. Итак, следует развить это положение. Я не буду приводить мнений английских публицистов, которых можно считать слишком предубежденными в пользу системы, составляющей их славу; я приведу мнение юриста, который видел и сравнивал суды с присяжными и без присяжных. Основываясь на своей опытности, этот глубокий наблюдатель утверждает, что даже искусный юрист менее способен оценить факты, обстоятельства человеческой жизни, свидетельские показания и улики, нежели граждане, живущие в свете и принимающие участие в его деятельности. «Ничего неизвестно, — говорит он, — a priori»*; или, по крайней мере, если нет другого путеводителя, кроме указаний разума, то при оценке частных случаев представляется опасность впасть во многие ошибки и неточности. Что касается дел и событий жизни, чувств, которые заставляют нас действовать, побуждений скрытого интереса, которые могут иметь влияние на волю, физических свойств вещей и внешних признаков известных деяний, — признаков, которые могут делать эти деяния более или менее несправедливыми, более или менее преступными, то какой-нибудь гражданин, одаренный только здравым смыслом и обыкновенным образованием, в состоянии гораздо лучше их обсудить, нежели юрист. Чем искуснее юрист, чем более он сидит за книгами, тем далее он держит себя от действительной жизни, тем менее ему известно все происходящее под крышею земледельца, на рынках, в кофейнях, в трактирах. Если дело идет об убытках, то он совершенно не в состоянии их определить. Если дело идет об обиде, то все местные частные обстоятельства, могущие сделать ее весьма тяжкою или почти ничтожною, ему неизвестны. Все сведения его о драках ограничиваются слухами. Он никогда не был свидетелем подобных сцен; он не знает тех обстоятельств, при которых они возникают, тех случайностей, которые раздувают их, личных качеств того класса граждан, который наиболее им предается.

Я присутствовал однажды при осмотре, который производил судья для разрешения вопроса, относящегося до качеств и употребления одной каменоломни. В то время как таящиеся, их эксперты, свидетели и секретарь занимались своим делом, судья, бывший, впрочем, весьма искусным юри-

* Заранее. — Ред.

стом, цитировал мне большие отрывки из Тацита и Горация; и в самом деле нам ничего другого не оставалось делать, потому что ни он, ни я, мы ничего не понимали в этой специальности. Если он потом произнес приговор, то я уверен, что это было превосходное приложение закона. Но к чему? К факту, установленному экспертами.

Говорят, что судьи не обязаны принимать мнение экспертов; но как осмелится они это сделать? Именно с целью не нарушить спокойствия своей совести они соглашаются с заключением экспертов. Чем добросовестнее судья, тем менее он позволит себе удалиться от этого заключения. Итак, процессы, в которых требуется мнение экспертов, решаются окончательно двумя лицами, называемыми экспертами и действительно не заслуживающими названия присяжных, потому что они не представляют всех гарантий присяжных,

Но сколько есть процессов, в которых судья имел бы надобность в заключении присяжных, кроме тех, на которые указывает обычай. Встречается мало вопросов о факте или об умысле, в которых это заключение не должно бы было иметь места после всего сказанного нами о неспособности юристов к их разрешению. Присяжные же — самые лучшие из всех возможных экспертов. Вопрос о суде присяжных, рассматриваемый с этой, особенной точки зрения, — с точки зрения, которая мне кажется правильной, — приводит меня к вопросу о том, следует ли иметь экспертов более способных или менее способных, представляющих более гарантий или представляющих менее. *Chacun à son métier* (всякому свое ремесло) — пословица самая обыкновенная, но в то же время весьма справедливая. Юрист должен развивать и прилагать закон, светский человек, деловой человек должен знать обстоятельства жизни и цели людей, потому что опыт снабжает его всеми для того необходимыми данными (Rossi. «*Annales de législation et de jurisprudence*», t. II, p. 93).

Я до сих пор ограничивался простым изложением доводов, которые говорят в пользу суда присяжных; я еще буду кратче в отношении его состава и укажу только на самые важные пункты.

Гарантии, представляемые судом присяжных против ошибок или несправедливостей со стороны судей, предполагают три условия, которые должны быть соблюдены при их избрании.

1) Не должно, чтобы они были назначаемы судьями или лицами, от них зависящими.

2) Должно брать их в классе, представляющем известную гарантию способности, назначать отчасти посредством жребия, отчасти посредством выбора, дозволяя отводы без приведения причин.

3) Их обязанность должна быть временная.

Существуют еще другие условия относительно способа исполнения обязанности присяжных, как-то: не расходиться прежде произнесения решения, ни с кем не иметь сообщения, судить только на основании устных прений, произносить приговор единогласно и пр.

Я скажу только несколько слов о выборе присяжных. Пусть возьмут лист присяжных, каково бы ни было их число. При образовании суда каждая из сторон вынимает по очереди двадцать четыре имени; по всей вероятности, никто не может иметь прежде влияния на эти сорок восемь лиц; но если бы в этом числе встретилось несколько человек, подозрительных публичному министерству* или заинтересованным сторонам, то это зло может быть вполне предупреждено их правом исключать двенадцать, по их выбору, из остающихся двадцати четырех. Жребий кажется лучшим способом для составления суда присяжных.

Все, что прямо или косвенно направлено против одного из трех вышеозначенных условий, может уменьшить в значительной степени или даже вовсе разрушить благотворное действие суда присяжных. Можно даже совершенно обессилить учреждение и исказить его до того, что оно не будет

* Прокуратуре.—Ред.

более служить гарантией для публики, а только для судей, ставя их вне всякой ответственности.

Я изложил основания, доказывающие пользу учреждения суда присяжных, как средства, способствующего хорошим судебным решениям. Но, предполагая, что возможно достигнуть этого результата без суда присяжных, я не перестану желать этого учреждения по причине тех различных второстепенных выгод, которые, по моему мнению, исключительно ему принадлежат.

1) Мне кажется очевидным, что, где существует суд присяжных, там он парализует систему стеснительных законов или влияния на суды. Так в Англии, где господствуют уголовные законы, щедрые на смертную казнь, присяжные часто оправдывают обвиненных, очевидно виновных, из желания избавить их от суровости законов. Так исчезли на практике чудовищные законы против католиков, прежде нежели они были формально отменены. Это исправительное средство имеет, без сомнения, неудобства, которых, впрочем, нельзя сравнивать с проистекающею из него общественною безопасностью.

В подкрепление моего мнения я укажу на то, что там, где враждебно смотрят на независимость, всегда стараются отнять у суда присяжных те дела, в которых боятся общественного решения, или доставить себе средства иметь влияние на присяжных способом их назначения. Но такие меры служат как бы набатом к тревоге.

2) При суде присяжных возникает и распространяется во всех классах общества чувство личной безопасности. Это можно видеть в Англии. Безопасность каждого — самая лучшая похвала этому учреждению. Каждый уверен, что он может быть судим только лицами, взятыми из его сословия, причем ему предоставляется право исключать тех, пристрастия которых он имеет основание опасаться.

Между действительною безопасностью и чувством безопасности существует естественная и тесная связь; но и то и другое может существовать отдельно.

Если различать их, то чувство безопасности более важно. Почему? Потому что страдание, проистекающее из чувства опасения, может распространиться на все классы общества, и продолжительность этого зла может быть бесконечна. Юридическая несправедливость есть только личное зло, она падает на относительно незначительное число лиц, но беспокоество, рождающееся от этой несправедливости, может распространиться на все общество и возмутить покой всех семейств.

Между действительною безопасностью и безопасностью видимою на самом деле нет существенного различия. Чем более сознают это, тем более почувствуют цену учреждения, которое способствует к образованию чувства общей безопасности.

3) Нельзя не признать другой пользы, проистекающей из учреждения суда присяжных: чувства уважения всех ко всем и, следовательно, народа к самому себе. В этой взаимной власти каждого над каждым заключается истинное равенство. Чувство подчиненности смягчается временным возвышением при отправлении столь важной обязанности; чувство превосходства ограничивается в такой же мере подчинением народному суду. Вот почему в Англии не встречается наглых и гнусных проступков против того класса, для обозначения которого весьма трудно найти имя, которое бы не заключало в себе оскорбления для людей с предрассудками. Присяжные — не пролетарии; но они более граничат с огромною рабочею массою, нежели с аристократическим кругом. Дженгельмену, который грубо обошелся с чистильщиком сапог, будет как-то неловко перед судом присяжных, который с радостью научит высокомерного шеголя уважать народ. Я думаю, что этому учреждению можно приписать в значительной степени ту мужественную гордость, которая, правда, выставляет недостатки народного характера, но которая дает резкий оттенок его патриотизму и его добродетелям.

4) Гласность в судах есть, без сомнения, превосходное средство для привлечения к ним внимания и для возбуждения общественного интереса ко

все́му в них происходя́щему; но участие присяжных в судебных действиях в особенности способно привести к этому благодетельному результату. Независимо от значительного числа призываемых каждый год к отправлению этой обязанности, должно иметь в виду гораздо большее число тех, которые могут быть к ней призваны и которые потому имеют побудительные причины изучать формы судопроизводства, права, которые они должны защищать, силу свидетельских показаний, значение доказательств, начала, по которым должно различать истинное от ложного, преступление от невинности. Занятие этими предметами необходимым образом производит в народе стремление предпочитать здравый смысл блестящим качествам и степенные характеры людям легкомысленным и пустым. Посмотрите, как в доме фермера собралось все его семейство послушать рассказы своего главы, только что возвратившегося из заседания ассизов * и исполненного воспоминаний о случившихся там событиях; он рассказывает им историю обвиненных, что было говорено в суде, что он думал, какое участие принимал в решении и на каких основаниях он осуждал или оправдывал. Я был не раз удивлен, слыша в Англии, как люди без ученого образования ясно различали доказательства на основании свидетельских показаний (*preuves testimoniales*) от доказательств вещественных (*preuves circonstanciées*) и обнаруживали в этом отношении знания, которых нельзя было бы найти в гораздо высших классах у народов, не имеющих суда присяжных. Итак, как образование ума, как средство воспитать народный характер и сообщить ему взаимное превосходство, суд присяжных создает, по моему мнению, школу взаимного обучения, в которой непрерывно переходят от теории к практике.

5) Отправления правосудия посредством суда присяжных представляет еще одну общую выгоду, состоящую в стремлении предупредить всякую частную вражду против судей. Судья является только органом закона для его применения; если он хорошо исполняет свою обязанность, то он представляется защитником обвиненного, наблюдая за соблюдением всех охраняющих его форм. Как только присяжные произнесли свой приговор, они расстаются, о них нет более речи; злобы к ним не может быть, и потому отправление правосудия никогда не производит чувств ненависти и мщения. Вот новое основание прочности общественного порядка. Если бы случилось, что присяжные были уличены в ошибке, губительной для невинности, это несчастье было бы приписано несовершенству человеческого суждений и не повлекло бы за собою последствий пагубных в будущем. Но если то же самое случилось бы в постоянном суде, то оно потрясло бы общественную безопасность и образовало бы против судей неизгладимое предубеждение, так как воспоминание о губительном происшествии всегда соединялось бы с их именем. Доказательство этого мы видим во французской революции. Несколько несчастных случаев, несколько судебных ошибок, а не злоупотребления, возбудили в такой степени общественную ненависть против парламента, что необходимость новых судов в особенности чувствовалась в учредительном собрании, и учреждение их было одним из благодеяний, дарованных собранием народу для снискания его любви. При различных переменах в правительстве Англии судебное устройство никогда не было ниспровергаемо; в нем происходили, без сомнения, перемены, смотря по характеру партий и судей, но формы оставались почти одни и те же; не было судебных комиссий, не было революционных судов. Нельзя сомневаться в том, что учреждение суда присяжных было причиною этой твердости судебного устройства; народ понимал, что, сохраняя это учреждение, несмотря на его недостатки, он будет иметь якорь спасения против политических обвинений и произвола судей.

Суд присяжных действительно представляет невыгоды. Сюда должно отнести проистекающую из него сложность судебного устройства, принуждение в отношении к тем, которые чувствуют отвращение к обязанности

* Заседание суда присяжных.—Ред.

присяжного, увеличение издержек для вознаграждения присяжных, оставку в суде до их собрания. Но независимо от того, что можно уменьшить эти невыгоды, они не столь важны, чтобы могли перевесить выгоды этого учреждения.

Делают возражения более важные.

Беспристрастие составляет главное достоинство суда присяжных, но это беспристрастие становится сомнительным в тех случаях, когда существует столкновение между интересами различных классов общества. Вот слова Палея (Paley)³, которые приводят тем охотнее, что он является скорее защитником, нежели порицателем всего касающегося английского уложения. «Бывают случаи, — говорит он, — в которых решение дел судом присяжных не вполне достигает цели правосудия. Это в особенности замечается в спорах, в которых играет роль страсть или народное предубеждение. Сюда относятся случаи, в которых один класс людей представляет требование ко всему остальному обществу; например, когда духовенство ведет тяжбу о десяatine; те, в которых чиновники должны исполнять обязанности, часто наступательные, если можно так выразиться; например, собиратели пошлин, баллы и другие низшие служители закона; те, в которых одна из сторон имеет интересы, общие с интересом присяжных, а другая — противные им; например, в спорах между собственниками и фермерами; и, наконец, те, в которых умы раздражены политическими несогласиями или религиозно-ненавистью».

Против этого я замечу, что во всех случаях, исключая последнего, упрек Палея относится не к уголовным делам, а к гражданским, и даже к тем особым случаям, в которых можно вообще предполагать, что присяжные примут под свою защиту слабого против сильного, или что они выскажут справедливое предубеждение против законов, не согласных с общественным интересом. Однако сильно ошибаются, если придают слишком большое значение этому обвинению в пристрастии. Я слышал, что приводили в пример, как исключительный случай, дела покойного лорда Лонсдаля, которого называли Левиафаном севера по причине его обширных владений: так как ему принадлежали многие чресполосные мины*, то он имел процессы с большею частью своих соседей. Против его исков образовалось предубеждение столь для него неблагоприятное, что он не осмеливался предоставлять решение своих дел присяжным в Нортумберланде и переносил их в столицу.

Этот случай, хотя исключительный, указывает на то средство, которое можно употребить против местных предубеждений: стоит только обратиться к суду присяжных более отдаленному или призвать присяжных из другой местности, взыскивая лишние издержки со стороны, желавшей воспользоваться этою осторожностью. Но я уверен, что при хорошем способе образования суда присяжных подобные переносы встретятся весьма редко.

Что касается до применения уголовных законов в делах религии, — применения, которого многие примеры мы видели в течение нескольких лет, — то присяжных можно упрекать только в том, что они не мудрее закона и не просвещеннее судей; во всех процессах можно было видеть, как судьи настаивали на важности преступления, как они употребляли все свое красноречие, чтобы действовать на совесть присяжных, чтобы дать им понять, что они держат в своих руках важнейший интерес общества.

Однакоже я осмелюсь утверждать, что эти преследования прекратятся под влиянием присяжных, когда вполне поймут, что они заключают в себе настоящее оскорбление для религии, которая должна защищаться нравственным влиянием и доводами, не прибегая к насильственным средствам, необходимым для поддержания обмана. Разве может быть что-нибудь опаснее, как дать неверию честь мученичества и силу энтузиазма?

Я обращаюсь теперь к другому возражению против суда присяжных, на котором Бентам настаивал более, чем на других. Это учреждение ставит

* Копи, рудники.—Ред.

судью, говорит он, вне всякой ответственности, хотя хорошо известно, что судья на самом деле имеет большое влияние, потому что присяжные имеют склонность — и, к счастью, склонность весьма распространенную — следовать указаниям человека, который более образован. Судья может при изложении обстоятельств дела или при оценке свидетельских показаний склонить весы на сторону оправдания или обвинения. И в самом деле, замечается значительное различие в решениях одинаковых случаев в различных ассисах, смотря по строгости или снисходительности судьи.

Судя по всему тому, что я видел в Англии, я уверен, что хотя там для судьи нет законной ответственности, но есть ответственность нравственная, которая гораздо сильнее, потому что действует всегда, устанавливается без обрядов судопроизводства, зависит от публики, присутствующей при всем происходящем в суде. Судья не может изложить обстоятельства дела, не выказав своего пристрастия или беспристрастия. Малейшее подозрение разрушило бы его влияние и произвело бы на приговор действие, противоположное тому, которое он желал.

Для нас не столь важно доказать, что нравственная ответственность судьи представляет совершенную гарантию, как сравнить ее с законной ответственностью и определить, не встречаются ли в приложение к сей последней такие трудности, которые делают ее ничтожной, исключая вопиющих случаев подкупа, невозможных при суде присяжных.

Самый трудный вопрос при рассмотрении учреждения суда присяжных есть вопрос о единогласии. Если требовать единогласия, по примеру английских законов, то оно может быть более кажущееся, нежели действительное. Неизвестно, как оно составляется, происходит ли оно из искреннего согласия всех, или оно было вынуждено скукою, усталостью или перевешивающим влиянием одного упрямого человека. В случаях, встречающихся, по всей вероятности, довольно часто, в которых меньшинство уступает большинству, единогласие является покрывалом, брошенным на непреодолимое разногласие.

Защитники английской системы возражают со своей стороны, что без требования единогласия присяжные не будут достаточно внимательны к делу, что меньшинство упадет духом с самого начала, что оно будет поработчено числом и что истинное прение только тогда возможно, когда каждый может надеяться победить.

Хотя я не считаю этого вопроса вполне разрешенным, однако, я склоняюсь на ту сторону, которая требует единогласия на том основании, что большинство вообще в состоянии лучше обсудить вопрос о факте и что в случае, когда произойдет разногласие, голоса должны скорее согласиться для оправдания, нежели для обвинения, а такого результата должно, конечно, желать каждый раз, как только возникает сомнение у нескольких присяжных. Разве можно предполагать упрямство, когда дело ясно? Кто сопротивляется один, тот хочет уступить только своему убеждению, но это убеждение приводит к мученичеству. Подобный характер достоин уважения, даже если он ошибается.

Я между прочим замечу, что самое большое препятствие к составлению единогласия заключается в смертной казни. Хотя и говорят присяжным, что они должны судить только о факте, но всегда встретятся между ними такие, которые будут взвешивать последствия своего голоса и останавливаться на малейшем сомнении в виновности, чтобы не иметь на своей совести смерти человека. Преобразуйте уголовные законы, и тогда присяжные будут легче приходиться к единогласному заключению.

Бентам представляет другие возражения против требования единогласия. Его нельзя достигнуть, говорит он, как только постоянным клятвенно-преступлением.

Что касается слова *постоянный*, то я нахожу его неуместным. В большей части случаев единогласие двенадцати человек о факте, о котором только что спорили, который рассмотрели со всех сторон, не представляет

ничего необыкновенного. Не только двенадцать, но даже сто, тысяча человек легко могут быть одного мнения.

В тех случаях, когда факты не столь очевидны, чтобы присяжные могли из них тотчас вывести единогласное заключение, то в каком положении находится меньшинство? В положении сомнения; я не могу не сомневаться, когда я один или почти один против девяти или десяти моих товарищей. Мое мнение колеблется, я чувствую, как я склоняюсь к большинству, и в этой нерешимости мое снисхождение не составляет клятвopеступления, потому что сущность клятвopеступления заключается в утверждении того, что считаю ложным, тогда как я могу быть убежден, что мнение значительного большинства должно быть справедливее моего.

Я снова возвращусь к замечанию, которое я сделал в начале этой главы. Бентам предлагает систему судопроизводства, в которой он обходится без суда присяжных, в той уверенности, что гарантии, которыми он окружил своего судью, лучше во многих отношениях гарантий, представляемых судом присяжных, и что они имеют на своей стороне простоту, скорость, экономно. Но во всякой другой системе, исключая своей, он так далек от мысли презирать учреждение суда присяжных, что написал особое обширное сочинение, в котором господствует аналитическая метода, принадлежащая только ему одному, чтобы выставить все злоупотребления, всю гнилость, как он говорит, вкравшиеся в английский суд присяжных, в особенности в суд специальных присяжных и по делам о политических пасквилях. Первая часть этого сочинения вся посвящена приведению доказательств существования злоупотреблений; во второй он предлагает средства для произведения реформы и те меры, которые должны быть приняты для достижения этим учреждением его истинной цели. Этот обширный труд не представляется произведением противника суда присяжных; это — работа искусного строителя на корабле, который потерпел во время долгого плавания, в который просачивается вода через незаметные скважины и которому грозит едкая ржавчина, если не поспешат остановить ее распространение. Вот что сделал Бентам для суда присяжных, не считая его самым лучшим средством для отправления правосудия.

Однако можно ввести суд присяжных в его систему, не искажая ее: но если бы следовало сделать выбор тех случаев, которых должно допустить это учреждение, то не должно забывать, что оно особенно важно в политических преступлениях, а из них в тех, которые касаются свободы печати. Я повторяю, что можно ввести суд присяжных в план судопроизводства Бентама, как можно вставить боевой прибор в часы, не нарушая его механизма. (О судоустройстве, «Журнал министерства юстиции», № 9, стр. 172—195).